

"Люди, годы, жизнь" Книга 7

- [Илья Эренбург](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [Вере не верю я.](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
-

Илья Эренбург

"Люди, годы, жизнь", книга VII

Мне снова приходится признаться читателям в своем легкомыслии или, если угодно, в недомыслии: в 1959 году, написав первые страницы книги воспоминаний, я решил, что закончу повествование той порой, когда сел за «Оттепель». Это было понятно: период, начавшийся весной 1953 года, был все еще незаконченной главой истории, да и я не мог предвидеть, что судьба мне подарит еще несколько лет. Недомыслие оправдывалось незнанием. Однако в 1965 году, внося в шестую часть некоторые дополнения, я уже видел, что десяток прожитых мною лет - это новая седьмая часть книги, и все же обрывал рассказ на «Оттепели». Правда, я частенько нарушал хронологию, прежде всего рассказывая о людях живых - о Пикассо, о Неруде или об ушедших после 1953 года - о Жолио-Кюри, Фадееве, Фальке, Назыме Хикмете, Пастернаке и других; в заключительной главе шестой части я коротко перечислял некоторые события последующих лет. Почему я обрывал книгу воспоминаний? Некоторые читатели, рассердившись, приписывали это решение страху. Когда-то поэт А. К. Толстой закончил шутовскую историю России откровенным признанием:

Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.

Однако издание предшествующих частей стоило мне немало усилий, и не страх перед трудностями останавливал меня. Нужно было время для того, чтобы кое-что разглядеть и понять. Теперь я знаю, что последнее десятилетие многое изменило и в жизни мира, и в моей внутренней жизни, мне есть о чем рассказать, и молчание было бы справедливо истолковано читателями как желание отмолчаться, духовно выйти на пенсию.

Я помню, как меня поразил в детстве оборванец, который, попросив у моей матери двугривенный, сказал: «Бедность, сударыня, не порок, но большое свинство». То же самое можно сказать и о старости: сил становится меньше, впечатлительность ослабевает, мир

невольно сужается. Да и с тобой вместе стареют, болеют, а потом уходят твои близкие, друзья, сверстники. Это ощущение если не духовного одиночества, то бытовой одиночества грозит отъединением. Человеку моего возраста, который сознает такую опасность, приходится все время спорить не столько с другими, сколько с самим собой: он должен отстранить искушение брюзжать на новые нравы, отворачиваться от современного искусства, считать ошибкой все, что бурно, бесцеремонно врывается в налаженную жизнь.

Многие черты нашего времени могут казаться спорными, порой немилыми, но теперь я понимаю происходящие перемены куда отчетливее, чем десять лет назад. Я уже говорил, что XX век начался, если забыть про календари, в 1914 году, но только пятьдесят лет спустя он окончательно распрощался со своим предшественником; его лицо теперь резко обрисовано, и человеку, как я, засидевшемуся в жизни, глупо рассуждать о том, что искусство потускнело или что молодые люди чересчур рассудительны. Река истории, ставшая в сороковые годы подземной, начинает вырываться из темноты. Молодые люди различных европейских стран еще не созрели, они еще не уверены в своем назначении, но они уверены в своем пренебрежении к доверчивости, многословию, сентиментальности своих отцов. Они не похожи на подростков 1936 года, которые мечтали добраться до Испании, чтобы отстоять от фашистов Мадрид. Многие слова звучат по-другому: «баррикады», например, стали реквизитом романтического театра, «война» связана не с окопами или танками, а с атомным грибом, «космос» рождает дорожную лихорадку. Разворачивая газету, молодые люди начинают со спортивных новостей. Они любят выставки и на полотна Пикассо смотрят как на электронные машины, реже спорят о романах, хотя много читают, охотнее говорят об очередном полете космонавтов, о новой строительной технике или о футбольном матче. Их не обольщают кумиры прошлого, они хотят все проверить на ощупь, и многие если не «вечные», то многовековые идеалы расползаются под непочтительной рукой, как пышные древние ткани.

Я встречал в разных странах отцов, валивших многое на детей: люди, пережившие ужасы войны, годы боев, фашистскую оккупацию, считают, что послевоенному поколению досталась куда более завидная судьба, с негодованием они говорят о росте хулиганства и

преступности, о скептицизме и карьеризме молодежи. Что, однако, могли унаследовать от отцов молодые люди, которые начали выходить на сцену истории в послевоенные годы? Наивность одних, осторожность других, равнодушие третьих. Вчерашний героизм солдат заслонялся будничным малодушием и растерянностью демобилизованных. Еще нужно было отстраивать разбомбленные города: для молодых рук было вдоволь работы, а для серьезных размышлений оставалось мало времени.

Наращивалось ужасающее ядерное оружие. В ООН, в различных парламентах и комиссиях все говорили о необходимости разоружения, и все продолжали вооружаться. Хиросима открыла новую школу, морали в ней не обучали. Юноши, слышавшие каждый день разговоры о том, что третья мировая война может начаться через год или через месяц, привыкли к жизни, связанной с ощущением возможности катастрофы. Люди привыкают ко всему - к соседству с вулканом, к землетрясениям, к циклонам, они привыкли и к возможности ядерной войны. Однако, под прикрытием буден, работы или лекций, футбольных матчей или фильмов, зреет новое сознание, набирает силы еще недавно высмеиваемая совесть.

Вьетнамская война может казаться различным государственным деятелям выгодной или глупой, нападением или защитой гнивающего строя, однако молодые люди повсюду, даже в самой Америке, видят прежде всего ее безнравственность.

Ханжеский пуританизм, иго церкви сдались перед послевоенным поколением в большинстве западноевропейских стран. Начался культ тела, освобожденного не только от былых запретов, но и от былых эмоций. Фильмы передовых кинорежиссеров показывали встречи, где мужчин и женщин сводит скука, случайная прихоть, ранняя пресыщенность. Газеты заполнили свои полосы детальным описанием убийств, истязаний, изнасилований. Романтическая тоска подростков приносила доходы авторам скандальных репортажей, торговцам наркотиками, продюсерам дурных кинокартин. Когда я был подростком, я часто слышал слова «сорвать фиговый листок». Подростки в пятидесятые годы старательно обрывали капустные листья.

Теперь как будто намечается перелом: молодежь понимает, что наука или политика без морали, любовные похождения без любви -

это тот заячий соус без зайца, о котором как-то говорил Достоевский. Что могла вынести французская молодежь из долголетней войны в Алжире, где представители мнимой культуры совершенствовали пытки? Да только отчаяние и взрывчатку. Могли ли перестать «сердиться» сердитые молодые люди Англии, читая о расправах в Кении?

Прошлый век оставил нам в наследство многие высокие принципы, и в молодости я считал, что расовые или национальные предрассудки доживают последние дни. Можно, конечно, отнести изуверство немецких фашистов к безнадежным попыткам изменить ход истории, однако и другие события последних двадцати лет говорят о росте национализма, порой расизма. Колонизаторы и американские рабовладельцы слишком долго попирали национальное и человеческое достоинство: накопилась лютая ненависть, счет представлен, и расплата проводится в той же монете. «Освободители», разумеется, лицемернее и гнуснее освободившихся. Я встречал бельгийских социалистов, проклинавших Лумумбу и требовавших военного вмешательства во внутренние дела Конго. Их английские единомышленники теперь отказываются вмешиваться во внутренние дела Родезии: не хотят применять силу к сторонникам расового насилия. Толстовцы в одном, каннибалы в другом, они сами приписывают к кровавому счету новые цифры. Да что говорить о социал-демократах, великая держава Азии, считающая себя блюстителем коммунизма, ежедневно твердящая на сотне языков о святости братства и интернационализма, воспитывает свою молодежь в духе подлинного расизма. Необходимо видеть мир таким, каков он есть, и не принимать желаемое за действительно существующее. Я не хочу этим сказать, что идея человеческой солидарности не верна, я по-прежнему убежден в ее правоте; но теперь я вижу петли длинного пути, которые порой выпядают как поворот назад, я знаю, что многое казалось нам куда более легким, быстрее осуществимым, чем оказалось на деле, и что потребуется немало времени, прежде чем принцип интернационализма станет обязательным для разномыслящего и разновозрастного человечества.

В повести «Скучная история», написанной Чеховым, когда ему не было еще тридцати лет, герой с горечью думает об отсутствии у него «общей идеи». Некоторые критики пытались истолковать эту повесть

как тоску автора по религии, хотя Чехов был атеистом и никогда не пытался обмануть себя прикладной метафизикой. Старый медик в «Скучной истории» называл «общей идеей» некую сумму философских и моральных понятий своего времени.

Различные религии долго претендовали на монопольное обладание «общей идеей». Однако живое тело постепенно превращалось в мумию, катехизис оказался куда долговечнее веры. Я с любопытством читал отчеты о заседаниях вселенского собора, созванного Ватиканом, они напоминали прения в одном из западноевропейских парламентов, хотя собор обсуждал не параграфы конституции, а догмы, слывшие прежде непогрешимыми: непорочность зачатия Святой девы или ответственность евреев за распятие Христа. Либеральные епископы предлагали заменить железные цепи поясами из каучука. Приспособление древних догматов к современному сознанию вряд ли спасет их от смерти.

Середина пятидесятых годов означала для многих миллионов людей кончину различных мифов, воскресить их никому не дано. Конечно, жить под небом, где кружатся спутники, труднее, чем пол небом, заселенным богами или ангелами. Труднее уверовать в силу человечности, чем в мудрость человека, возведенного в вожди. Но есть эпоха детства и эпоха зрелости, а эпохи не входят в ассортимент товаров - их не выбирают.

Когда я говорил о критическом отношении молодых людей нашего времени к идеалам прошлого, и думал о разномастных «общих идеях», которые их отцы принимали на веру, заучивали в младенчестве, как таблицу умножения. Юноши и девушки нашего времени отнюдь не удовлетворены неполнотой, не общностью «общей идеи», они хотят ее пополнить или создать из суммы точных познаний, личного опыта, частных или порой спорных обобщений.

После всего, что я писал в предыдущих частях моей книги, мне незачем настаивать на однородности развития нового поколения. Молодые люди знают куда больше, чем чувствуют; с этим связаны не только оскудение философии да и других гуманитарных наук, но и падение роли искусства в жизни общества, обеднение чувствований, изображения, этики. Прежде гуманитарные факультеты представляли элиту наций, юноши искали ответа на мучившие их вопросы не только у Льва Толстого, но даже у Стриндберга, Леонида Андреева,

Поля Бурже. Теперь математические и физические факультеты притягивают лучших людей нового поколения, там можно убедиться, что любовь к точности не убивает фантазии. Даже в области музыки, поэзии, живописи молодые физики куда более осведомлены и более требовательны, чем их товарищи - студенты философского, исторического или юридического факультетов. Видимо, надежды на гармоничного человека, на «общую идею», которая рождается из раздумий и поисков молодых людей, нужно теперь связывать не с трудами запоздалых философов, будь они экзистенциалистами, неопозитивистами или неотомистами, и не с «культурной революцией», предпринятой догматиками, которые видят в любом движении критической мысли преступный «ревизионизм», а с дальнейшим развитием точных наук, с пробуждением в носителях знания морального сознания, совести.

Эта глава может озадачить некоторых читателей: чего ради, отметая запоздалых философов, автор сам расфилософствовался? Такие обобщения полагается давать разве что в эпилоге, а я их выложил в начале последней части книги о моей жизни. Я буду говорить о событиях, и о людях, и о себе. Поздний вечер был трудным и беспокойным, но я жадно приглядывался к молодым: человеку свойственно думать о будущем, даже если он знает, что для него там не будет места. Но мне хотелось до того, как начать рассказ, обрисовать хотя бы в самых общих чертах климат эпохи.

С того дня, когда я отнес в «Знамя» рукопись «Оттепели», до XX съезда партии прошло всего два года. В памяти многих события тех лет потускнели: 1954 - 1955 годы кажутся затянувшимся прологом в книге бурных походов, неожиданных поворотов, драматических событий. Это, однако, не так. В моей личной жизни то время отнюдь не было тусклым: сердце оттаивало, я как бы начинал заново жить. В шестьдесят три года я узнал вторую молодость. Названные годы не были бледными и в жизни нашей страны. Начало справедливой оценки несправедливостей прошлого не было случайностью, оно не зависело ни от добрых намерений, ни от темперамента того или иного политического деятеля. Годы, прошедшие после смерти Сталина, многое предопределили. Просыпалась критическая мысль, рождалось желание узнать об одном, проверить другое. Сорокалетние постепенно освобождались от предвзятых суждений, навязанных им с отрочества, а подростки становились настороженными юношами.

Происходило это не по указке. Просматривая старые газеты, я нашел в декабрьских номерах 1954 - 1955 годов восторженные статьи о «великом продолжателе дела Ленина», в них превозносились не только политические добродетели И. В. Сталина, но также его скромность, даже гуманность. Слова «культ личности» толковались по-разному. Критик В. В. Ермилов корил Первенцева за то, что он в романе «Матросы» окружил героя «культом личности». «Литературная газета» за два месяца до XX съезда писала: «Сталин выступал против культа личности», далее говорилось о благородном влиянии Сталина на развитие советской литературы. (За год до того мы узнали о посмертной реабилитации Бабея, Чаренца, Тициана Табидзе, Яшвили и многих других.) Статьи ничего не выражали, да и ничего не отражали. Сразу такие дела не делаются, и если люди еще побаивались говорить о многом, что оставалось несказанным, в глубине их сознания подготавливались события 1956 года.

Второй съезд писателей собрался через двадцать лет после первого, и его шутя называли по роману Дюма «Двадцать лет спустя».

Накануне открытия съезда в Центральный Комитет пригласили сотню писателей, в том числе и меня. Выступили многие писатели с самыми различными оценками современной литературы. Последним в списке был крупный писатель, неизменно причисляемый к классикам советской литературы. Я не называю его имени, потому что в книге воспоминаний избегаю всего, что могло бы показаться читателю сведением личных счетов. Этот писатель напал на мою «Оттепель», вынув из кармана листок, он прочел мои стихи, написанные весной 1921 года:

...Но люди шли с котомками, с кулями шли и шли
и дни свои огромные тащили как кули.

Раздумий и забот своих вертели жернова.

Нет, не задела оттепель твоей души, Москва!

Стихи эти, слабые, как и другие, написанные мной в то время, не содержали криминала, а вырванные из книжки строки прозвучали иначе, и оратор легко связал их с повестью «Оттепель». Однако главный сюрприз был впереди: писатель-классик, припомнив мой давний роман «В Проточном переулке», сказал, что в нем я изобразил дурными русских людей, а героем показал еврейского музыканта Юзика. Я вздохнул, но не удивился: мне было уже шестьдесят три года. Поэт А. И. Безымеиский потребовал слова. Н. С. Хрущев ответил, что совещание кончилось. На следующее утро газеты сообщили о совещании, но, разумеется, о прениях ничего не говорили. Я позвонил П. Н. Поспелову и сказал, что не хочу идти на съезд. Петр Николаевич ответил, что двум товарищам (классику и Безыменскому) указано на недопустимость их поведения, а мое отсутствие будет плохо истолковано. Хотя я и написал «Оттепель», я сам еще не успел по-настоящему оттаять - и пошел на съезд.

Стенографический отчет всех выступлений был опубликован. Когда просматриваешь шестьсот страниц убористого шрифта, невольно вспоминаешь, что было за двадцать лет до этого - в 1934 году.

В 1934 году писатели горячо спорили, съезд проходил во время больших, хотя и неоправдавшихся надежд. Были иллюзии о значении съезда для развития литературы, все было внове. А второй съезд выглядел куда бледнее. Многие писатели умерли: Максим Горький, Л. Н. Толстой, М. М. Пришвин, Ю. Н. Тынянов, И. А. Ильф, Л. Н.

Сейфуллина, Ю. И. Яновский, А. С. Серафимович. На войне погибли Е. П. Петров, А. Гайдар, Ю. Крымов, Б. Лапин, З. Хацревин, Чумандрин, Борис Левин, Афиногенов; в годы беззакония навеки исчезли Бабель, Чаренц, Тициан Табидзе, Яшвили, Бруно Ясенский, Пильняк, Артем Веселый, Перец Маркиш, Д. Бергельсон, Квитко, М. Кольцов, И. Микитенко, И. Фефер. Многие крупные авторы - Паустовский, Пастернак, Олеша, Вс. Иванов, Сельвинский, Светлов, В. Гроссман - значились в списке делегатов, но они не выступали, их даже не выбрали в президиум.

Среди иностранных писателей, приехавших на съезд, было немало известных, даже знаменитых - Арагон, Пабло Неруда, Анна Зегерс, Гильен, Назым Хикмет, Жоржи Амаду, Майорова, Садовяну, Артур Лундквист; но, в отличие от гостей первого съезда, они ограничивались приветствиями или коротким обзором литературы своих стран, не принимая участия в обсуждении проблем, поднятых докладом и содокладами,- соблюдали нейтралитет.

Открыла съезд О. Д. Форш, ей тогда было за восемьдесят; она прочитала по бумажке: «Прежде всего хочется выразить глубокое уважение к памяти И. В. Сталина. Почтим память Иосифа Виссарионовича вставанием».

Докладчики не забывали давних оценок. К. М. Симонов, например, охарактеризовал повесть Казакевича «Двое в степи», которая в 1948 году рассердила Сталина, «не просто ошибкой талантливого писателя, а его решительным отходом от самого существа метода социалистического реализма». (Теперь в «Литературной энциклопедии» можно прочитать, что критика повести была «необоснованной».) Докладчик и содокладчики отзывались с похвалой об авторах не очень одаренных, но зато благонравных, хвалили и друг друга. В докладе Пастернак и Заболоцкий были названы только среди двадцати переводчиков. О Зощенко, разумеется, никто не упомянул.

Однажды на съезде было произнесено имя Марины Цветаевой. Полемизируя с С. Кирсановым, поэт Н. Грибачев сказал: «...если таким образом произвести цитатную операцию над некоторыми произведениями самого Кирсанова, то он на глазах почтенной публики легко может превратиться в нечто среднее между Мариной Цветаевой и купцом Алябьевым, который, по свидетельству Горького,

писал такие стихи: «Пароходы, моровозы, гыр-гыр, гар-гар, гадят Волгу, портят воду, дым-дым, пар-пар...» (В 1954 году советские читатели не знали поэзии Цветаевой, теперь они смогут оценить слова Н. Грибачева.)

Докладчик А. А. Сурков, содокладчик К. М. Симонов осуждали мою «Оттепель» и «Времена года» Веры Пановой. Потом в разной форме такие же порицания были высказаны М. А. Шолоховым, В. В. Ермиловым, представителем ЦК комсомола А. А. Рапохиным, В. А. Кочетовым. Каждый из присутствующих понимал, что осуждение двух книг не было случайным совпадением писательских оценок. Для того, чтобы уравновесить осуждения, был принесен в жертву роман Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды», его называли «лакировкой действительности», все это было отнюдь не новым и показывало, что писатели не зря прожили двадцать лет после первого съезда. Да и выступавшие охотно ссылались на XIX съезд партии, припоминали слова Г. М. Маленкова о «наших Гоголях и Салтыковых-Щедриных». Некоторые, то ли по рассеянности, то ли от избытка рвения, защищали кампанию 1949 - 1950 годов против «космополитов», забывая, что многое в нашей стране изменилось. Доклады были длинными, порой я скучал, но уйти не решался - я ведь был обвиняемым и это могло быть истолковано как бегство.

Добрые (или недобрые) пастыри, которые пасли писательское стадо, менялись. Некоторым это занятие нравилось. При Сталине все было просто: нужно было только узнать, как он отнесся к той или иной книге. После его смерти стало труднее. Были писатели, слишком доверявшие своему нюху: их оценки книг диктовались тем, как они видели завтрашний день. Я вспоминаю старый одесский анекдот: еврей спрашивает свою жену: «Что мне взять, зонтик или палку?» - «Возьми зонтик - может пойти дождь».- «А если дождь не пойдет? Я буду выпядеть дураком».- «Тогда возьми палку».- «Ну, можно ли слушать женщину! То она говорит - «возьми зонтик», то «возьми палку». А я ничего не возьму - я и не собираюсь выходить из дому». Предсказывать погоду - дело трудное, и во всех странах мира посмеиваются над просчетами институтов прогноза.

Писатели, доверявшие своему нюху, в конце концов поняли, что ошибались больше других, танцевали, когда гробовщик обмерял покойника, и плакали навзрыд, когда мамыши пекли пироги на

свадьбу. Пастыри мало-помалу становились обыкновенными пастухами - без излишних теорий и без рискованных прогнозов.

В. Ф. Панову обвиняли в «объективизме». Эта формулировка К. М. Симонова прижилась. (Десять лет спустя мою книгу «Люди, годы, жизнь» упрекали одновременно и за «объективизм», и за «субъективизм», вероятно, потому, что два греха тяжелее одного.) Вера Федоровна не смогла приехать на съезд, и судили ее заочно. Я в своем выступлении сказал, что обвинение в «объективизме» Пановой мне кажется недопустимым. Вскоре после конца съезда я получил от Веры Федоровны письмо, она желала мне хорошего Нового года и добавляла: «...для всех нас желаю, чтобы и у нас, в нашем ремесло, наконец, наступила оттепель».

На седьмой день съезда выступил М. А. Шолохов. Его речь меня не удивила, и до того, и после я не раз слышал или читал его выступления, выдержанные в том же тоне. Но кто-то наверху, видимо, обиделся или рассердился. Забыли даже «Оттепель» и «Времена года»; почти все выступавшие осуждали речь Шолохова - и Ф. В. Гладков, и М. Турсун-Заде, и В. Ермилов, и С. Антонов, и К. А. Федин, и А. А. Фадеев, и Б. С. Рюриков, и К. М. Симонов, и А. А. Сурков. Для меня было непонятно такое единодушие, не понимаю его и теперь.

Все же я был неправ, сравнив второй съезд с первым. Одно дело первый бал, где танцуют, краснеют и влюбляются семнадцатилетние девушки, другое - чувства тридцатисемилетней женщины, прожившей нелегкую жизнь. Начиная с 1936 года и до весны 1953-го судьба не только книги, но и автора зависела от прихоти одного человека, от любого вздорного доноса. В течение двадцати лет и писателей, и читателей старались отучить от неподходящих мыслей. Однако многие выступления на втором съезде были интересными: писатели защищали достоинство литературы. В. А. Каверин говорил: «Я вижу литературу, в которой редакции смело поддерживают произведения, появившиеся в их журналах, отстаивая свой самостоятельный взгляд на вещи и не давая в обиду автора, нуждающегося в защите... Я вижу литературу, в которой любой, самый влиятельный отзыв не закрывает дорогу произведению, потому что судьба книги - это судьба писателя, а к судьбе писателя нужно относиться бережно и с любовью... Я вижу литературу, в которой приклеивание ярлыков считается позорным и преследуется в уголовном порядке, которая помнит и любит свое

прошлое. Помнит, например, что сделал Юрий Тынянов для нашего исторического романа и что сделал Михаил Булгаков для нашей драматургии». М. С. Шагинян сказала: «У критика, знающего, что роман хороший, знающего, что доводы против него неубедительны и бездоказательны, не хватает простого гражданского мужества встать на защиту романа и страстно за него бороться. Тем самым критик показывает, что ему, в сущности, очень мало дела до действительной оценки вещи, до ее правильного раскрытия, а главное, к чему он стремится,- это попасть в тон установившейся конъюнктуры...» Вот слова М. И. Алигер: «А виноваты общие условия литературной жизни, обстановка, сложившаяся в последние годы в Союзе писателей, где творческий разговор подменяется нередко начальственным стуканьем кулаков но столу, а всякое раздумье, попытка по-своему осмыслить и решить тот или иной вопрос, всякое доброе критическое намерение сразу именовались разными страшными словами». О. Ф. Берггольц привела пример: «Еще в 1949 году мы с вами знали, что пьеса Сурова «Зеленая улица» плохая пьеса и тоже лежит по сути за гранью литературы. Однако что было при обсуждении этой пьесы? Я перед съездом нашла номер «Литературной газеты» и руками развела, прочитав на одной странице высказывания Софронова, что у него при чтении этой пьесы «растут крылья», на другой странице - К. Симонова, который говорит, что Суров «прокладывает новую лыжню в искусстве».

С. И. Кирсанов взывал: «Нам противопоказан учрежденческий стиль работы, и в нашем Союзе не должно быть ни начальников, ни просителей, ни условий, порождающих тех и других». Поэт А. Яшин высмеивал рассуждения «критиков»: «Замордовали лирику - и нас же в этом винят... Из любовной лирики у нас не вызывали ничьих возражений и прославлялись разве только стихи о вечной верности собственной супруге. Но чтоб не было никаких ссор, никаких размолвок и подозрений, насаждался своеобразный лирический бюрократизм». В. К. Кетлинская, рассказав, как роман В. Пановой «вдруг» начали чернить, так закончила свое выступление: «Мы хотим и требуем, чтобы любители проработок и убийственных ярлычков просто не могли просочиться на страницы печати, чтобы каждая такая попытка рассматривалась как нарушение норм социалистического общежития».

Мне было трудно говорить в полный голос - я был проработан по первому разряду, весь облеплен ярлычками. Все же я сказал: «Можно только горько усмехнуться, представив себе, что стало бы с начинающим Маяковским, если бы он в 1954 году принес свои первые стихи на улицу Воровского... Одни из руководителей Союза писателей, резонно говоря о значении «средних писателей», сказал, что без молока не получишь сливок. Продолжив это несколько неудачное сравнение, можно сказать, что без коров не получишь и молока».

На первом съезде нас глубоко трогали делегации читателей, порой наивных, но чистосердечно говоривших о своей любви к советской литературе. На втором съезде мы редко слышали читателей, но мы хорошо знали, как они выросли, знали, что порой они отбрасывают скверные книги, ждут правды и красоты. Однако и мы, писатели, успели освободиться от многих иллюзий. Мы уже понимали, что нелепо толковать на съездах о том, как писать книги, и что художнику косноязычие зачастую более свойственно, чем красноречие. Мы знали, что дело не только в секретариате Союза писателей, да и не только в критиках, которые противоречат себе, начинают вдруг поносить то или иное произведение, а в общих условиях нашей работы.

Я не стану останавливаться на произведениях советских авторов, лучше расскажу о судьбе перевода книги Хемингуэя «Старик и море». Это, по крайней мере, смешная история. В 1955 году решили выпустить журнал «Иностранная литература»; редактором назначили А. Б. Чаковского; мне предложили войти в редакционную коллегию. Я долго колебался, и все же согласился - может быть, смогу помочь опубликовать ту или иную хорошую вещь. Александр Борисович говорил, что он собирается в одном из первых номеров напечатать новую книгу Хемингуэя, получившую осенью 1954 года Нобелевскую премию. Я ходил на собрания редколлегии, и вот вскоре редактор, мрачный и таинственный, сказал нам, что номер придется перестроить - Хемингуэй не пойдет. Когда совещание кончилось, он объяснил мне, почему мы не сможем напечатать «Старика и море»: «Молотов сказал, что это - глупая книга». Недели две спустя я был у В. М. Молотова по делам, связанным с борьбой за мир. Я рассказывал о росте нейтрализма в Западной Европе. Когда разговор кончился, я

попросил разрешения задать вопрос: «Почему вы считаете повесть Хемингуэя глупой?» Молотой изумился, сказал, что он в данном случае «нейтралист», так как книги не читал и, следовательно, не имеет о ней своего мнения. Когда я вернулся домой, мне позвонили из редакции: «Старик и море» пойдет...» Вскоре после этого я встретил одного мидовца, который рассказал мне, что произошло на самом деле. Будучи в Женеве, Молотов за утренняям завтраком сказал членам советской делегации, что хорошо будет, если кто-нибудь на досуге прочитает новый роман Хемингуэя - о нем много говорят иностранцы. На следующий день один молодой мидовец, расторопный, но, видимо, не очень-то разбирающийся в литературе, сказал Молотову, что успел прочитать «Старик и море». «Там рыбак поймал хорошую рыбу, а акулы ее съели». - «А дальше что?» - «Дальше ничего, конец». Вячеслав Михайлович сказал: «Но ведь это глупо!...» Вот резоны, которые чуть было не заставили редактора отказаться от опубликования повести Хемингуэя. Легко понять, как в наступающем десятилетии жили проработчики и писатели. Судьба книги зависела от любого обстоятельства внешней или внутренней политики; но об этом мне придется еще не раз говорить в последующих главах.

(Случай с Хемингуэем в 1955 году не был единичным, и я вышел из редакционной коллегии «Иностранной литературы» еще до выхода первого номера. Два года спустя я дал в этот журнал очерк «Уроки Стендаля». На очерк обрушились самодеятельный проработчик Н. Тамапцев, потом Е. Книпович. Мечты Каверина оставались мечтами, и Чаковский поспешил заявить на заседании президиума Союза писателей (отчет был опубликован): «Ошибкой редакции была публикация статьи И. Эренбурга «Уроки Стендаля», содержащей полемику с основополагающими принципами советской литературы».)

Недавно ко мне пришел В. А. Каверин. Мы заговорили о нашей литературе. Вениамин Александрович остался оптимистом, хотя той литературы, о которой он мечтал в 1954 году, не увидел, может быть, и не увидит. Он говорил, что любой средний писатель в любом журнале пишет теперь свободнее и что конъюнктурщикам пришлось потесниться. Это правда, и объясняется это прежде всего духовным ростом читателей. Сто лет назад писатели учили молодую русскую интеллигенцию мыслить и чувствовать. Положение изменилось, и,

как это ни парадоксально звучит, я решусь сказать, что теперь читатели многому научили среднего писателя.

Я просмотрел старые подшивки газет. 1954, 1955 и 1956 годы - последний до событий в Венгрии - были помечены некоторой разрядкой международной напряженности или, как говорили западные обозреватели, началом «оттепели». Газетная бумага быстро дряхлеет, стареет, и листы кажутся хроникой далекого прошлого, однако слишком многие статьи могли бы быть написаны вчера. В те годы мы слишком предавались иллюзии да и слишком легко отчаивались.

В мае 1954 года я попал в Париж - должен был вручить Пьеру Коту премию Мира. После Парижского конгресса мне не давали французской визы, это было неизменным, хотя правительства во Франции менялись каждые полгода. Я увидел Париж после пятилетней разлуки. Поехал я с Любой, и Кот уговорил нас поселиться в отдельной квартире, служившей ему рабочим кабинетом. Жил он в старой части Парижа - на острове Сен-Луи, где любой дом казался историческим памятником

Конечно, город изменился: площади, набережные, улицы еще гуще были запружены и заставлены машинами; росли огромные пригороды; бары с едким голубоватым светом, или «снэк-бары», по-нашему, забегаловки, вытеснили старые уютные кафе. Однако Париж трудно изменить, слишком много в нем старых домов, цепких привычек, надышанного воздуха.

Рано утром я бродил по узеньким улочкам Сен-Луи; влюбленные, расставаясь, долго, старательно целовались; на ручных тележках лежали букетики ландышей; старики прогуливали собачонок, а вечная чешуя Сены, что ни мгновение, менялась.

Клод Руа повез нас через всю Францию в Валлорис, где жил тогда одинокий Пикассо. Весь день он работал в мастерской, а домик казался нежилым, запущенным. На полу я увидел груды нераспечатанных писем. На площади стояла статуя Пикассо «Человек с бараном». Шел дождь, но мы не могли оторваться от чудесной скульптуры. (Год спустя я увидел в парижской лавчонке открытку: «Пикассо показывает свою скульптуру приезжему художнику» -

дождь не помешал профессиональному фотографу.) Там же я увидел заброшенную часовню, на стенах которой Пикассо написал «Войну и мир».

На обратном пути мы остановились в Лионе. Я навестил Эррио. Французы спорили о политике, о войне в Индокитае (одни называли ее «злосчастной», другие «грязной»), о планах восстановления германской армии. Спорили долго, но без бывшего ожесточения: заводы начинали менять устаревшее оборудование, безработицы не было, в магазинах толпились покупатели, довольство чувствовалось повсюду.

Однажды Пьер Кот сказал мне, что со мной хочет побеседовать депутат - радикал Мендес-Франс: «Это человек с будущим». Люба ушла к друзьям, и мы долго разговаривали. Мендес-Франс оказался молодым - ему тогда было сорок семь лет. Говорили мы о международном положении. Я сразу понял, что для Мендес-Франса я скорее почтовый ящик, нежели собеседник. Он сказал, что, по всей вероятности, скоро станет премьер-министром, говорил о том, что сможет сделать и чего нельзя от него ожидать; нужно во что бы то ни стало покончить с войной в Индокитае; лично он против «европейского оборонительного сообщества», то есть против создания многонациональной армии Западной Европы, однако необходимо считаться с пожеланиями Соединенных Штатов, да и глупо озлоблять канцлера Аденауэра. Мендес-Франс хочет улучшить отношения с Советским Союзом, но, помолчав, он угрюмо добавил: «Пусть русские не предаются чрезмерным иллюзиям - теперь не времена Народного фронта». Помню, вечером я сказал Любе: «Он скептик вдвойне - как Мендес и как Франс».

(Мы встретились с Мендес-Франсом двенадцать лет спустя. Многое успело измениться, и прежде всего отношения Франции к Вашингтону, Бонну, Москве. Но Мендес-Франс остался скептиком. Это умный и волевой человек, только сомнения или осторожность его часто останавливают. Политические противники говорят о нем с уважением. Один крупный голлист сказал мне: «Мендес мог бы стать министром-финансов де Голля с большими полномочиями, но он предпочитает оставаться в оппозиции». Без соли не проживешь, но из одной соли никто не изготовит блюда.)

Поражение Франции при Дьенбьенфу помешало французам полюбоваться танцем Улановой - власти в запальчивости запретили спектакли московского балета,- но поражение привело к власти Мендес-Франса. Месяц спустя в парламенте он получил четыреста девятнадцать голосов, против него проголосовали всего сорок семь депутатов. Женевская конференция министров иностранных дел, в которой участвовали Мендес-Франс, Фам Ван Донг, Молотов. Идеи, Чжоу Эньлай и Даллес, положила конец войне в Индокитае. Конференция признала единый и независимый Вьетнам, но приняла компромиссное решение временно разделить его на две зоны, гарантируя общие свободные выборы в 1956 году. (С тех пор прошло не два года, а свыше двенадцати лет. Место Франции в Южном Вьетнаме заняли американцы. Что ни день, в Сайгоне менялись марионеточные правительства. Началась гражданская война. Американцы давно позабыли о решениях Женевского совещания, они заняты не выборами, а бомбежками Северного Вьетнама. Мир потрясен сопротивлением маленькой страны со слабой промышленностью нападению двухсотмиллионной индустриальной державы. А летом 1954 года не только я, но даже скептический Мендес-Франс считал, что в Юго-Восточной Азии воцарится спокойствие.)

Газета «Ле Монд» писала: «Было бы бессмысленным обеспечить мирное сосуществование в Юго-Восточной Азии, если холодная война будет продолжаться и обостряться в Европе. Один вопрос сейчас плавенствует: будет ли вооружена наново Германия и если будет, то во имя чьих интересов».

В осень 1954 года было много надежд и много тревоги. Впервые за тридцать лет примолкли пушки, не падали бомбы.

В ноябре в Стокгольме собралась сессия Всемирного Совета Мира. Недавняя победа приподымала четыреста человек, приехавших из разных стран. Мы помнили, как издевались газеты, когда мы предлагали представителям пяти великих держав сесть за круглый стол, и вот в Женеве именно это и произошло, некоторые сели неохотно, на самый краешек стула, но многолетней войне в Индокитае все же был положен конец.

Однако было достаточно оснований и для тревоги. Гонка ядерного вооружения усилилась. Америка настаивала на

переворужении Германии. Правда, в августе французский парламент значительным большинством отказался ратифицировать «европейское оборонительное сообщество», но вскоре французам поднесли новое блюдо - «парижские соглашения» - Германской Федеративной Республике предоставлялось право сформировать двенадцать дивизий и войти в Западный военный блок. Французы волновались: все понимали, что ограничение вермахта - увертка, что дивизии растут быстрее, чем дети, и все вспоминали оккупантов на двух берегах Сены.

На сессии Всемирного Совета видное место занимал вопрос об европейской безопасности. Бог ты мой, этот вопрос волнует европейцев и теперь! Говорят «безопасность», а думают об опасности. В 1954 году американские и английские политики пытались успокоить всех разговорами о том, что немецкий милитаризм якобы похоронен навсегда. Двенадцать лет спустя их ждал неприятный сюрприз: на выборах в некоторые региональные парламенты Западной Германии (в провинции Гессен отнюдь не худшей) новая партия национал-демократов, вдоволь воинственная, набрала много голосов, получила десять мест в парламенте. Название никого не обманет: Гитлер окрестил своих приверженцев «национал-социалистами», хотя социалистов они предпочтительно убивали, «национал-демократы», разумеется, никакого отношения к демократии не имеют.

Легко догадаться, как я относился к воскрешению рейхсвера. Я знаю, что многие люди в Западной Германии считают меня человеком с предвзятым мнением, слепо ненавидящим немцев. А мне ненавистен любой национализм, и немецкий, и французский, и русский, и еврейский.

Осенью 1966 года я был на праздновании столетия со дня рождения Ромена Роллана в прекрасном местечке Везеле. Там собрались люди из разных стран, говорили о гуманизме, о широте писателя.

В Везеле вдова писателя, Мария Павловна Кудашева, та самая Майя, с которой я подружился в Коктебеле почти полвека назад, устроила дом «Жан-Кристоф», в котором летом гостят и беседуют друг с другом разноязычные студенты Европы. Мария Павловна попросила меня поговорить с одним студентом из Западной Германии. Мы встретились на открытой веранде гостиницы. Студент

был на вид милым мечтательным немцем, с ним пришла студентка, похожая на классическую Гретхен, она молчала и только восторженно поглядывала на своего товарища. Немец мне объяснил, что изучает русский язык, а девушка английский (говорил он по-русски еще плохо, и мы беседовали по-французски). Я спросил, что его прельстило в русском языке. Он ответил, что хочет пойти работать в министерство иностранных дел, как и студентка. Далее разговор перешел на общие темы: я заговорил о нацизме. Но только я, но и все гости, пришедшие после конца очередного заседания, были потрясены немецким студентом: он не защищал зверства нацистов, но упорно отвечал, что противники Германии вели себя не лучше и что в Нюрнберге победители судили побежденных. Он отстаивал право Германии на ядерное вооружение, говорил, что только отсталые аграрные страны вроде Швеции могут отказаться от водородных бомб. Он очень плохо знал недавнее прошлое своей страны, и дело было не в генах, не в крови, а просто в том, что ему не сделали антinationалистской прививки, которая могла бы его оградить, как прививка ограждает от эпидемии оспы. Беда не в том, что в Федеральной республике существуют национал-демократы, а в том, что молодое поколение не защищено от их пропаганды.

Вернусь к осени 1954 года. Я выступил на сессии Всемирного Совета с речью: в те годы мы еще тратили много сил, убеждая убежденных. Передо мной были и старые друзья, и люди, которых я видел впервые: Пабло Неруда, английский физик Буроп, Донини, Д'Арбузе, французские депутаты-прогрессисты Мепье и Де Шамбрен, чилиец Альенде, японец Мацумото и многие другие. Речь свою я кончил словами: «Советский гражданин, русский писатель, человек, переживший две мировые войны, видевший пепел Реймса и Новгорода, европеец, любящий Европу, ей преданный, я хочу сказать всем европейцам: сбережем то прекрасное, что нам досталось...»

Мы заседали в Скансене; внизу маячили абстрактные рисунки мачт. Дни были куцыми, в тумане просвечивали круглые масляные фонари. Счастье да и беда человека, что он почти всегда живет разными жизнями. Мы сидели в маленьком кафе возле гостиницы «Мальме» и разговаривали не о германских дивизиях, не о предстоящем съезде советских писателей, а о той душевной оттепели, которая продолжалась среди ранних заморозков северной зимы.

Кругом долговязые шведы скупно улыбались девушкам, проглатывали слоеные булочки, разворачивали тяжелые газеты, а за окном мелькали легкие снежинки. Я думал: сколько неожиданного в жизни! Моя старая ветла от осенних бурь неизменно расщепляется, и вот некоторые ветви, упав на землю, весной укореняются, дают побеги.

Мое выступление, видимо, понравилось; его поместили в «Правде», а несколько недель спустя мне позвонили и попросили участвовать в собрании, посвященном десятилетию франко-советского договора. Открыв дверь служебного входа в Колонный зал, я смутился: почему столько милиционеров? Меня попросили предъявить документ. Поднявшись наверх, я увидел в комнате, которая обычно служит буфетом, правительство, членов Президиума ЦК. Что за диковина?

На эстраду пригласили посла Франции Жокса: он явно был смущен происходящим. Когда я говорил об Эдуарде Эррио, Жокс аплодировал вместе со всем залом, но не мог же он аплодировать моим размышлениям о том, что нельзя одновременно договариваться с пастухом и с волком.

Зал прерывал речи аплодисментами и когда я говорил о моей любви к Франции, и когда Молотов сказал, что договор с Францией поставлен под угрозу парижскими соглашениями.

Предупреждение Москвы не подействовало. Четвертая республика не могла похвастаться постоянством: 23 декабря Национальное собрание отклонило первый пункт парижских соглашений. Депутатов начали обрабатывать: одним говорили, что, ратифицировав соглашение, будет легче договориться с Москвой, другим - что нельзя рассориться с Америкой и Великобританией. Тринадцатого декабря парламент одобрил соглашения скромным большинством в двадцать семь голосов.

Газеты сообщали, что ратификация Францией парижских соглашений вызвала резкий подъем всех ценностей на нью-йоркской бирже: «31 декабря было самым счастливым днем за четверть века. В экстазе биржевики подбрасывали вверх бумаги с заказами на 1955 год».

1955 год начался грозно. Все гадали, что означает совещание НАТО, о котором Спаак сказал: «Военные требовали разрешения готовиться к атомной войне. Это разрешение им дано». В январе

собрали Бюро Всемирного Совета Мира. В порядке дня стояли два вопроса: угроза атомной войны и вооружение Западной Германии. Жолио-Кюри был встревожен, говорил, что американцы обезумели: «Термоядерное оружие угрожает жизни на нашей планете». Фадеев его умолял «смягчить прогноз». Жолио сердился. Обсуждали парижские соглашения. Я выступил все о том же - о судьбе нашей беспокойной Европы: «Не развяжет ли снова Германия мировую войну, третью и последнюю?» Фадеев сказал мне: «О «последней» не говорите. На это есть резоны...» Мы еще раз попробовали открыть кампанию по сбору подписей: не могли забыть успех Стокгольма. (Подписей собрали много, кажется, даже больше, чем под Стокгольмским обращением, но изменилось время и впечатление было не то, что в 1950-м.)

В Москве собрался Верховный Совет. Маленков подал в отставку, его место занял Булганин.

Что будет через год, через месяц? Зима и весна были полными противоречий. Раскрывая утром газету, люди не знали, что в ней найдут: может быть, соглашение, а может быть, ультиматум. Да и природа дурила. Над оливами Италии бушевали снежные бури. Штормы топили корабли - то в Средиземном море, то возле берегов Японии. Многие французские города пострадали от наводнений. Весна была поздней, и в Америке плодовые сады обожгли заморозки.

Старое путалось с новым. Первого мая 1955 года в Праге на берегу Влтавы торжественно открыли памятник Сталину. Поэт Лацо Новомеский еще сидел в тюрьме. Его выпустили год спустя, и он написал стихи: Сталин смотрит с другого берега Влтавы «на дни весны, что наконец настали». Ко мне пришел военный прокурор, который собирал материал для реабилитации Мейерхольда. Он сказал, что Всеволода Эмильевича судил военный трибунал; ему предъявили три пункта обвинения: он был агентом Интеллидженс сервис, работал в японской разведке, поддерживал дружеские отношения с писателями Андре Мальро, Эренбургом, Пастернаком и Олешей. Прокурор был несведущ в писательских делах и спросил, живы ли Пастернак и Олеша. Я дал ему номера телефонов.

В мае мы отпраздновали пятидесятилетие Леонида Мартынова: его стихи почти десять лет не печатали. Помню четверостишие,

прочитанное на вечере: «И вскользь мне бросила змея: у каждого судьба своя! Но я-то знал, что так нельзя - жить, извиваясь и скользая».

Май, что ни день, подносил сюрпризы. В десятую годовщину Победы над Германией в зал Шайо, где заседал совет НАТО, вошел канцлер Аденауэр, и тотчас над зданием взвился флаг Германской Федеративной Республики. Советское правительство объявило договоры о взаимной помощи с Францией и Англией утратившими силу. В Варшаве собрались представители восьми социалистических государств и 14 мая подписали договор о совместной обороне. 15 мая в Вене был подписан договор о независимости и нейтралитете Австрии. Канцлер Рааб дал обед, на котором присутствовали Молотов, Макмиллан, Даллес и Пинэ.

Я был тогда в Вене - собралось Бюро Всемирного Совета. Работали мы в роскошном дворце, превращенном в ресторан. В зимнем саду корчились лиловые и оранжевые орхидеи, а в салонах пылились кресла середины прошлого века. Мы поздравляли австрийцев. Все верили в успех предстоящей Ассамблеи мира. Май не походил на январь.

Венцы повели меня по садикам и подвалам, где было шумно, весело, люди пили легкое, но коварное вино, пели песни. Оккупанты начинали собираться домой, и венцы, поглядывая на роскошные гостиницы, еще занятые военными, улыбались: «Ничего, почистим...»

В конце мая в Югославию направилась советская правительственная делегация. Выказав глубокое сожаление о недавнем прошлом, Хрущев приписал долю вины Берии: вероятно, он забыл, что среди других, и правильных, обвинений два года назад Берию обвинили в попытке сблизиться с Тито.

Наши войска оставили Порт-Артур, передав его Китаю. «Правда» печатала китайские статьи, разоблачавшие «преступную клику» писатели Ху Фэна, Писательница Дин Лин утверждала, что Ху Фэн был опасным и коварным врагом. (Несколько лет спустя разоблачили Дин Лин; против нее выступал Го Можо; а семь лет спустя Го Можо, разоблачив себя, начал кататься в пыли и грызть землю.)

В том году я много ездил - то в Вену, то в Стокгольм, то в Хельсинки, то в Париж, то в Женеву. Как-то в Париже д'Астье сказал мне, что премьер-министр Эдгар Фор приглашает нас пообедать. Фор и его жена оказались веселыми, живыми собеседниками. Год спустя,

приехав в Москву, они у меня ужинали, и мы считали себя старыми знакомыми. В Москве неожиданно в квартиру ворвались фотографы, сняли нас за столом, Фор смеялся: «Ваши репортеры могут потягаться с парижскими...» А обед в Париже я вспомнил по листку настольного календаря Фора. Я вдруг увидел: 11 часов - посол США, 1 час - Эренбург, И часов - Аденауэр. Я не выдержал и рассмеялся: Эренбург между американским послом и канцлером! Когда-то в гимназии, увидев товарища между двумя гимназистками, мы пели: «Барбос между двух роз».

Седьмого июня в Москву приехал Джавахарлал Неру. Он понравился москвичам - высокий, красивый, задумчивый, много лет просидел в английских тюрьмах. Я видел, как люди кидали под его машину букетики цветов, купленных на рынке. Менон устроил прием в саду посольства. Неру обворожил и меня.

Мы стояли у входа в сад, когда я увидел маршала Г. К. Жукова; он тогда был министром обороны. Я поздоровался с ним, и тут подошел посол Франции Жокс. Я оказался самодеятельным переводчиком. Жуков говорил о своих встречах с французским генералом де Латтр де Тассиньи, посмертно произведенным в маршалы. Разговор был светским, и я забыл бы про него, если бы Г. К. Жуков, когда посол откланялся, не сказал, повернувшись к Любе: «Главное - умереть вовремя...»

23 июня в Хельсинки собралась Всемирная ассамблея. Трудно сказать, почему мы придумали такое название. Для русского уха оно звучит забавно - невольно припоминаются увеселительные ассамблеи Петра Первого, но мы не думали в Хельсинки развлекаться, хотели облегчить участь людей, далеких от движения сторонников мира. Каждый раз большие усилия давали скромные результаты. За нами прочно сохранялась репутация прокоммунистического движения. Сторонники мира сделали все, чтобы привлечь другие миролюбивые силы. Результаты были скромными: за нашим движением твердо укрепилась репутация коммунистического. Все же Эррио согласился числиться почетным председателем Ассамблеи, прислал своего представителя и приветствие - жалел, что болезнь не позволяет ему присутствовать на Ассамблее. Приехали французские депутаты Капитан, Валлон, Дюбю-Бридель, итальянский христидемократ

Джаппули, бразилец Жозуе де Кастро, представители индийской партии Национальный конгресс.

Открыл Ассамблею Жолио-Кюри умной и сдержанной речью. Комиссия порой работала до утра - белые ночи позволяли забыть про время. Тон выступлений был миролюбивым, все старались понять друг друга. Лю Ници дружески беседовал с американским священником, Сартр любезничал с финскими аграриями, французы устроили встречу с алжирской делегацией.

Кажется, Ассамблея была последним Всемирным конгрессом, на котором наша маленькая Европа оказалась в центре внимания: все помнили, где начались две мировые войны. Я вспоминаю, что в моей речи больше всего аплодировали простым словам: «Мне хочется спросить делегатов европейских стран, неужели мы не можем договориться между собой, как договорились делегаты азиатских стран в Бандунге?» (События опровергли мою ссылку на Бандунг, но вопрос об общности Европы воскрес десять лет спустя.)

После моего выступления Пьер Кот, обычно скупой на похвалы, сказал: «Это ваша лучшая речь, так вы не говорили да и больше не скажете...» Похвала скорее относилась ко времени, чем к моему красноречию: мы все искали язык мира. Когда один американец сказал, что «мирное сосуществование» - коммунистический термин, все охотно согласились заменить эти слова другими.

После того, как Ассамблея проголосовала обращения и рекомендации, в университете состоялось заседание Всемирного Совета Мира. Выбрали президента Жолио-Кюри, выбрали и десять вице-президентов. Вдруг вместо имени Фадеева я услышал свое. Я растерялся, а потом огорчился. Фадеева уже оттеснили от руководства Союзом писателей. Теперь он не вице-президент, а член бюро. Полгода спустя его перевели из членов ЦК в кандидаты. Вечером Фадеев меня поздравил. Я начал оправдываться: «Александр Александрович, для меня это было неожиданностью!» Он засмеялся: «Для меня тоже, но я вам тоже ничего не сказал бы - в общем, это не ваше дело».

Три недели спустя в Женеве собралось совещание руководителей четырех великих держав, участвовали в нем Эйзенхауэр, Даллес, Булганин, Хрущев, Молотов, Иден, Макмиллан, Эдгар Фор, Нинэ. Совещание продолжалось пять дней, ни по одному из поставленных

вопросов не было достигнуто соглашение. Надежды народов были так велики, что нельзя было просто разъехаться по домам, и главы правительств объявили, что поручают министрам иностранных дел тщательно обсудить вопросы разоружения, европейской безопасности, контактов между Востоком и Западом. Каждый день кто-либо приглашал других на обед или на ужин; все говорили мирно, избегая неосторожного слова. Так родился «дух Женевы». Он был хорошим духом, но духу нужно тело, и вежливость не могла заменить соглашение хотя бы по одному второстепенному вопросу.

Министры иностранных дел собрались, они тоже угощали друг друга, тоже говорили учтиво, но уже полемизируя друг с другом. Заседали они три недели и ни о чем не договорились. Перепоручить дело было некому. «Дух Женевы» стал испаряться. Год спустя события в Венгрии все перечеркнули.

Но в августе 1955 года «дух» казался почти осязаемым. Созвали сессию Верховного Совета, посвященную Женевскому совещанию. Я - член нашего парламента вот уже шестнадцать лет, но только один раз меня попросили выступить - о Женевском совещании. Конечно, тогда я видел будущее в розовом свете, но полемизировал я не с представителями Запада, а с неисправимыми пессимистами: «Мы тоже знаем пословицу об одной ласточке, которая не делает весны. Я не считаю ее чрезмерно мудрой. Конечно, одна ласточка не делает весны, но ведь ласточки прилетают весной, а не осенью, и если показалась одна ласточка, то за ней должны последовать и другие. Ласточки вообще не делают весны, весна делает ласточек». Я припомнил движение сторонников мира, Жолио-Кюри, недавнюю Всемирную ассамблею. Дальше я говорил: «Не пора ли повсеместно покончить с привычками вводить в заблуждение, выдавать карикатуру за портрет, подменять наблюдения догадками, а эти догадки излагать как обвинения? Мне кажется, что журналисты и писатели всего мира должны стоять у еще не погасшего огня холодной войны скорее с бочками воды, нежели с бочками керосина».

С тех пор прошло больше десяти лет, и ни один из поставленных в Женеве вопросов еще не разрешен. Мы пережили немало опасных кризисов. Однако «дух Женевы» не был призраком, что-то в мире изменилось, ослабевало взаимное недоверие, исчезал страх, и как бы ни были резки дипломатические ноты или газетные статьи, люди

перестали гадать, не упадет ли на них завтра или послезавтра водородная бомба. Да если я и ошибаюсь, то так ошибаться горько, но не стыдно - бочки керосина я больше не коснулся.

Я рассказываю о 1955 годе путано, переходя от одного к другому, то о бузине, то о дядьке в Киеве, ничего не поделаешь: таков был год. Он был кануном и напоминал клубок шерсти, который очень трудно распутать.

В сентябре я оказался на «Женевской встрече»; ничего общего с Совещанием глав правительств или министров она не имела. «Женевские встречи» - культурная организация, раз в год собираются специалисты, или, как говорят у нас, деятели культуры различных стран, и обсуждают какую-либо проблему. В 1955 году предстояла юбилейная, десятая встреча, и впервые устроители пригласили советского человека - как-никак «дух Женевы». Я должен был прочитать доклад в большом зале и участвовать в обсуждении как моего, так и других докладов в кругу постоянных участников «Женевских встреч» перед сотней пожилых дам, свободных в рабочее время.

Тема была такая: угрожают ли культуре различные изобретения: кино, телевидение, радио, иллюстрированные еженедельники? Одним из докладчиков был Жорж Дюамель, который начиная с тридцатых годов говорил об угрозе кино и радио для подлинной культуры и даже полусерьезно предлагал устроить пятилетку, свободную от дальнейших технических изобретений.

Мне предоставляли возможность сказать людям Запада о наших трудностях, успехах, надежде. Разумеется, я отвел нелепое утверждение, что технические изобретения могут как таковые принести оскудение духовной жизни человека: есть хорошие и дурные фильмы, обогащающее или принижающее людей телевидение. Я говорил о том, что не раз в истории человечества культура гибла, потому что была достоянием немногих. Акрополь или трагедии Еврипида были понятны узкому кругу афинян, и призыв отстоять Афины от римских варваров не нашел ответа у рабов. Когда произошла Октябрьская революция, две трети населения России не знали азбуки. Расширение базы культуры вначале шло за счет ее глубины. Люди читали первый или десятый роман в жизни и многого не понимали. Появился противный термин «доходчивость». Начали

изготавливаться романы, рассчитанные на сегодняшнего читателя, они неизменно устаревали: читатели духовно росли. Последующие события, прежде всего войны, настолько изменили духовный облик людей, что зачастую читатели с пренебрежением захлопывают книгу.

Я указывал также, что демократизация культуры происходит и на Западе: книги дешевет, еженедельники дают репродукции хороших живописцев, радио передает не только танцевальную, но и симфоническую музыку. (Этот процесс неизмеримо возрос за десяток последующих лет. Дешевые издания не только классиков, но и современных авторов позволяют рабочим читать книги. Сначала в Италии, потом во Франции стали появляться монографии художников с хорошими репродукциями, чрезвычайно дешевые; тираж их очень высок.)

Доклад был напечатан в французском сборнике и в «Литературной газете». Я теперь перечел его и увидел, что разделяю былую мою позицию.

Обсуждение докладов было куда менее интересным, чем я думал. Каждый день я встречал женевскую социалистку-учительницу. Она нас не любила, и часто ее вопросы мне напоминали прокурора на процессе: говорила она не о росте культуры, а о тех злодеяниях, которые творились у нас в еще недавнем прошлом.

Месяц спустя я очутился в мэрии Лиона; там состоялось совещание об европейской безопасности. Эррио был болен: когда он пришел к нам, его поддерживал его помощник - не мог ходить. На совещании были лорд Фардингтон, Кот, Ломбарди, д'Астьс, Оскар Ланге, английский лейборист Пламмерн, Лю Нини и другие.

Мы говорили, разумеется, все о том же - о «духе Женевы». Возвращался я в Париж поездом в одном купе с лордом Фардингтоном. Лорд-лейборист был приятным собеседником, и путь прошел быстро. Подъезжая к Парижу, мы поспорили по вопросу, не имевшему отношения ни к европейской безопасности, ни к нашей предшествовавшей беседе, а именно, какие уши у скотч-терьеров. Лорд утверждал, что уши у них длинные и падающие, а я говорил - короткие и стоячие. Мы держали пари, и по условиям выигравший мог потребовать от проигравшего осе, что ему вздумается. В Париже я тотчас нашел собачью энциклопедию на английском языке, сообщил лорду Фардингтону о том, что он проиграл, и просил его в той форме,

которую он найдет лучшей, рассказать англичанам, что советский писатель знает лучше, как выглядят шотландские терьеры, чем британский лорд. Фардингтон мне любезно ответил, что действительно он проиграл пари, но об атом он рассказал не своим соотечественникам, а только мне.

Эта глава будет самой короткой в длиннущей книге. Я хочу рассказать о небольшом дорожном злоключении, и, прочитав главу, читатели поймут почему.

В октябре 1955 года мы отправились с Н. С. Тихоновым в Вену на заседание Бюро Всемирного Совета Мира. Погода казалась нелетной, но самолет благополучно перелетел Карпаты и приземлился, как полагалось, в Будапеште. Нам сказали, что Вена не принимает, нужно подождать час-другой. Мы разговаривали о том о сем: о поэзии Мартынова, о пакистанских обычаях, о здоровье Жолио-Кюри. Прошло четыре часа. Нам объяснили, что Вена не принимает вполне обоснованно - там сильный туман. Мы бродили по длинному аэродрому, из одного зала неслись соблазнительные запахи - там помещался ресторан, но денег у нас не было, суточные нам должны были выдать в Вене. Нас начал мучить голод, который, как известно, не тетка. Николай Семенович вел себя как старый стоик, а я в итоге не выдержал и позвонил в Венгерский Комитет защиты мира.

Не прошло и часа, как появились незнакомые мне люди, почему-то они извинились: в Вене туман не по их вине. Нас провели в небольшой зал, где стоял стол, изобилующий яствами. Встретил нас Ракоши. Он дружески с нами разговаривал о движении за мир, о Женевском совещании, о жизни в Москве. Я уплетал чудесный гуляш. В конце обеда Ракоши попросил нас провести вечер с венгерскими писателями. Разумеется, мы согласились.

В Союзе писателей было людно. Нам принесли кофе, на столе стояли бутылки с душистым балатонским вином. Однако я сразу почувствовал некоторую напряженность. Первым выступил Н. С. Тихонов. Он подробно рассказал о декаде латышской литературы в Москве. Я видел, что венгры чем-то озабочены. Не успел Николай Семенович кончить, как все повернулись ко мне, просили что-нибудь рассказать. Я решил выбрать спокойную тему: писатель, когда он пишет для газеты, должен видеть перед собой не редактора, а читателя, найти слова, которые дойдут до него, должен отстаивать

право говорить своим языком и не давать редактору вычеркивать красным или синим карандашом любое незатасканное слово.

Когда я кончил, один из венгерских писателей спросил меня, можно ли купить в Москве мою «Оттепель». Я ответил, что повесть была напечатана в журнале «Знамя», а потом вышла отдельным изданием; тираж был небольшой - сорок пять тысяч, книгу быстро распродали, и теперь ее можно найти только в букинистических магазинах. Тогда другой писатель спросил меня: «А почему в Венгрии ваша «Оттепель» издана в количестве ста экземпляров для партийного руководства?» На этот вопрос я, конечно, не мог ответить и попросил Николая Семеновича рассказать еще что-нибудь.

Я разглядывал писателей, некоторых я встречал прежде - одних в Москве, других два года назад в Будапеште. Вот Дьердь Лукач, Петер Вереш, Бела Иллеш, Юлиус Гай... Все были возбуждены, начали говорить друг с другом по-венгерски; только Лукач спокойно курил сигару.

Я так и не понял, что приключилось с венгерскими писателями; ясно было одно: они недовольны. Когда мы вернулись в гостиницу на островке, я спросил Тихонова, почему Ракоши нас отправил к писателям, Николай Семенович ответил: «А бог его знает. Атмосфера действительно странная...»

В номере было жарко - почему-то уже топили. Я открыл окно - тепло, сыро. Накапливал мелкий дождик. Яркий фонарь вырывал из ночи последнее золото деревьев.

Завтра придется выступать в Вене, говорить о «духе Женевы», о европейской безопасности. Хорошо, но что здесь происходит? Писатели озлоблены. Почему Ракоши нас не предупредил?...

Я понял все, но не в ту ночь - год спустя.

14 января 1956 года мы с Любой вылетели из Москвы в Индию. Тогда не было прямого сообщения через Гималаи, и мы летели долго - Париж - Рим - Каир - Карачи - Дели. Вернувшись в Москву, я написал очерк «Индийские впечатления» и не буду повторять сказанное в нем. Мне хочется сказать о том, что мне дала Индия. Наступивший год был чрезвычайно бурным и для нашей страны, и для людей, с которыми я встречался, да и для меня самого. Однажды я шел по дороге в Альпах, вдруг спустилось облако. Остановились машины, пешеходы; полчаса мы пробыли в другом мире. Сравнение, конечно, неправильное: Индия была миром живым и цветистым. Я нашел в ней не только изумительное древнее искусство, но и бури нашего века, политические демонстрации, беженцев из Пакистана, писателей и художников, которых мучили многие проблемы, томившие их европейских собратьев. Индия отнюдь не была изолированным миром, но я, потрясенный этой страной и ее людьми, оказался оторванным на месяц от бесед и мыслей, поглотивших меня накануне отъезда. Индия меня многому научила. Добрая госпожа Рамешвари Неру, которую я встречал в Стокгольме и Хельсинки, от кого-то узнала, что двадцать седьмого января - мой день рождения, и на очередном приеме подвела меня к огромному торту, на котором горели шестьдесят пять свечей - я должен был их задуть. Люди в таком возрасте редко чувствуют себя учениками, но в Индии я многое понял и многому научился.

Мы говорили и продолжаем говорить о мирном сосуществовании. Обычно под этими словами понимают мирное сосуществование государств с различным социальным строем, с различной идеологической направленностью. Меня удивило в Индии сосуществование не только в одном городе, но и в одном человеке различных, порой противоречивых мыслей и чувств.

Разумеется, такие внутренние контрасты можно наблюдать и в любой европейской стране, но там для меня они были привычными в тусклости привычного быта, а в Индии они бросались в глаза, так же как европейца удивляют попуган или обезьянки на улицах Дели - он привык к голубям или воробьям.

Перед поездкой в Индию и потом я прочитал много книг, написанных о ней французами, англичанами, русскими. Все говорили о контрастах, но применяли к ним свой привычный метод - картезианство или диалектику, английское право или теософию; вместо ключа были неудачные отмычки.

Начну с самого затасканного. На улицах индийских городов, особенно в Калькутте, меня поражали очень тощие коровы, которые блуждали в поисках пропитания, заставляя покорно останавливаться автомобили, экипажи, велосипедистов. Их было очень много, они разыскивали рынки, лавки, где продавали овощи и фрукты, жадно подбирали сгнившие плоды дынного дерева, кожуру бананов, листья. Их нельзя было обидеть, но можно было их не кормить. Святость распространялась на быков и телят. Говядину не ели индусы, свинину мусульмане, люди побогаче ели баранов и кур, а большинство были вегетарианцами, одни по убеждениям, другие по привычке, третьи по нужде. На юге я видел бедного крестьянина, который уводил тощую корову подальше от своего дома: у нее не было больше молока, она не могла работать, и бедняк волок ее, чтобы она ела рис или просо на земле другого бедняка. Автомобилист, который задавил бы человека, мог спастись, но горе тому, который задавил бы или ушиб корову. В начале ноября 1966 года в Дели бушевали демонстрации: индусы требовали не штатного (областного), а общегосударственного законодательства, запрещающего убой коров; при этом были убиты несколько человек.

Судя по статистическим данным, в Индии с ее населением около пятисот миллионов душ существуют двести пятьдесят миллионов тощих, порой бездомных, но священных коров.

(Много лет спустя я написал стихотворение «Коровы в Калькутте», кончив его так:

Было в моей жизни много дурного,
Частенько били - за перегибы,
За недогибы, изгибы,
Но никогда я не был священной коровой.
И на том спасибо.)

Трудно объяснить судьбу священных коров религиозным фанатизмом. Индуизм не воинствующая религия, да и место веры порой занимают привычки, суеверия, присущие всем людям. Конечно,

в Индии много странностей. Я помню большую площадь в Калькутте, залитую кровью барашков - приносили жертву одному из многочисленных индуистских богов. По площади проходили люди с марлевой повязкой на рту: они боялись нечаянно совершить тягчайший грех - проглотить мушку.

В Бомбее живут парсы - огнепоклонники: огонь, земля и вода для них священны, и умерших они кладут на высокую Башню Молчания, чтобы их расклевали хищные птицы. Над городом летают грифы и другие стервятники. Иногда птицы теряют кусок человеческой руки или живота.

Сикхам не разрешено стричься и бриться. Есть ученые, депутаты, писатели, которые носят тюрбаны, чтобы скрыть чересчур длинную шевелюру, бороды подтягивают резиночкой.

Я встречал ученых, которые изредка ходили помолиться богине Знания. Шофер покойного доктора Балиги, выдающегося хирурга, не был верующим, но когда мы ехали по ужасающей дороге из Аурангабада в Бомбей, он вдруг остановился у одного из храмов и, подозвав брахмана, сунул ему в руку четверть рупии. Повернувшись к нам, он виновато сказал: «Туман, ничего не вижу...» Ганг - священная река, в ней купаются, чтобы смыть грехи, кувшины с водой уносят или увозят в далекие деревни. Однако со священной рекой обращаются не более милосердно, чем со священными коровами, - огромные фабрики джута загрязняют ее воды.

Индуизм отнюдь не культ одного бога: богов и богинь множество. А сонм обожествленных увеличивается. Когда я был гимназистом, мне попала в руки книга «Из пещер и дебрей Иидастана». Там рассказывается о диковинных людях Индии. Автором была Блаватская. В Мадрасском храме теософов много богов, рядом с Брахмой Будда, Иисус Христос, и тут же статуя пожилой женщины с русским лицом, под ней подпись: «Елена Петровна Блаватская».

А в общем ничего нет тут удивительного. В католических церквях Франции висят крохотные модели рук и ног - благодарности за исцеление. Газеты ежедневно печатают гороскопы, каждый может прочитать, как ему надлежит вести себя завтра, если он родился под знаком Водолея или под знаком Рыб. Во многих гостиницах вслед за комнатой номер 12 следует 14 - цифра 13 пугает. Да и к лику святых не устают причислять различных особ. Несколько лет назад в соборе

Брюгге я увидел объявление, призывающее совершить паломничество в португальский городок Фатима, где проживала простая девушка, которая после посещения ее Богородицей предсказала нашествие коммунистов. Словом, обрядов, застрявших привычек и суеверий много и в Европе, но я к ним привык с детства. Незнакомые нравы помогают приезжему понять то, что чересчур ему знакомо.

Расскажу про вечер, который я провел в доме Неру. Премьер-министр пригласил нас к ужину. За столом сидели Перу, его дочь Индира, леди Маунтбатензе, гостившая в доме премьера, Кришна Менон, подвергшийся незадолго до этого операции и тоже живший у Неру, индийская переводчица, Люба и я. После ужина Неру предложил мне выпить чай за маленьким столиком, и там мы добрый час толковали о мире и о движении за мир.

Что меня удивило? Необычная простота человека, которого почти все индийцы обожали, его человечность. Всю свою жизнь он отдал освобождению Индии, он встречался и беседовал с различными людьми, с учеными (о своей беседе с Неру рассказывал мне Эйнштейн), писателями, не только с Роменом Ролланом, но с молодым немецким поэтом Толлером, с Андре Мальро - они говорили о буддийском искусстве. Неру запросто позвал меня к себе. Это была та простота, которая диктуется внутренней сложностью. Он нашел общий язык с Эйнштейном, а когда он вмешивался в толпу, беседовал с индийскими крестьянами, говорил так же естественно, как с профессорами Кембриджа.

В завещании, написанном за десять лет до смерти, Джавахарлал Неру просил, чтобы его тело сожгли и пепел развеяли в Аллахабаде, где течет Ганг; он оговаривал, что это не связано с обрядом, так как он чужд религиозным чувствам. Да, есть в Индии нечто отличное от Европы или Америки, например, поэтическая настроенность.

На аэродроме в Дели мне повесили на шею длинные гирлянды цветов; приехав в гостиницу, я поспешил положить их в воду. Потом я привык к тяжести и к запаху тубероз, роз, гвоздик, других неизвестных мне цветов тропиков, иногда на собраниях на меня навешивали десяток гирлянд. Час спустя я их бросал, как это делали индийцы: цветов в Индии много. Мало риса и хлеба. Страна большая, разнообразная: и Гималаи, и джунгли, и плодородные степи, и сухие выжженные пустыни. Обрабатывают землю, как в древнейшие

времена,- волю тащат соху, удобрений нет, несмотря на множество коров; крестьяне делают из навоза лепешки, ими освещают свои лачуги.

На улицах Калькутты часто человек лежит, и непонятно, спит ли он, болен или умер, лежат прокаженные, женщины унимают голодных детей. А прохожие не удивляются - присмотрелись к нищете, к эпидемиям. В Мадрасе нас повели в землянки, где живут портовые рабочие. Это звериные норы, и к этому тоже привыкли. Люди, с которыми я подружился в Индии, мне говорили, что индийцы - фаталисты, каждый понимает, что умрет, когда придет его срок. Если можно привыкнуть к ожиданию своей смерти, то к чужому горю привыкнуть нельзя, оно как облако слезоточивого газа обступает пестрые бугенвилли, красавиц в шелковых или ситцевых сари, древние храмы и современную живопись. Нет, никогда человек не скажет всего, что у него на сердце, не только чужестранцу, но и близкому другу, наверное, не скажет даже самому себе - ведь фаталистам и нефаталистам нужно жить, пока за ними не пришла смерть, а жить, договорив все, невозможно.

Нас отвезли в Дели в гостиницу для именитых иностранцев, во дворец раджи начала века. Все там казалось шатким, действительно, как-то ночью матрац моей кровати провалился, и я очутился на полу. Я долго бродил по внутреннему двору, по коридорам, но никого не нашел, поджал ноги и устроился на коротком диване. Утром пришел слуга, увидел матрац на полу, добродушно рассмеялся. Каждое утро один из слуг срезал две пышные розы и подносил их Любе и мне.

Напротив гостиницы был большой сквер, там сидели на корточках люди. Я подошел поближе, оказалось, что они когтями подстригают газон. Потом я увидел много других чудес. В Индии были современные заводы, они изготавливали не только паровозы, но и самолеты. Рамешвари Неру показала нам мастерские, устроенные для беженцев из Пакистана; там, например, изготавливали руками ведра, котелки, чайники. Конечно, проще да и лучше изготавливать утварь на фабрике, стричь газоны машинкой, но тогда миллионы и миллионы людей будут лежать на улице, ожидая, когда за ними придет смерть. Ручной труд чрезвычайно дешев, дивный платок стоит меньше, чем пакет бритвенных ножииков.

Я считал раньше, что привязанность индийцев к домотканой одежде объясняется традициями, а она связана с экономикой. Ганди думал не столько об упрощении нравов среди зажиточных слоев общества, сколько о голодной смерти, которая ждет миллионы и миллионы, если люди станут одеваться по-европейски. Я пробыл день в гостях у крупного экономиста Махаланобиса, создателя Института статистики возле Калькутты. Он был другом Рабинлраната Тагора. Там я узнал, что многие противоречия современной Индии продиктованы экономическим состоянием страны.

Конечно, не все противоречия объясняются экономикой. На празднике Дня Независимости в Дели был военный парад: пехота, зенитки, авиация, а потом показались слоны, они вели себя отменно, даже кланялись президенту Республики.

Старое органически сплетается с новым, может быть, потому, что английские колонизаторы на века заморозили жизнь огромного народа, может быть, и потому, что огромные заводы, иллюстрированные еженедельники, радиопередачи, кинотеатры не мешают индийцам любить расфуфыренных слонов, религиозные праздники и танцовщиц, которые знают древнейший язык танца.

В музее бывшей французской колонии Пондишерри собраны статуи богов и богинь, а среди них бюсты Марианны - Первой и Третьей Французской Республики, древние манускрипты и фотографии Жореса, Ромена Роллана. В Мадрасе собрались писатели, которые пишут на языке телугу. Председатель что-то говорил, слегка напевая; мне объяснили, что он прочитал молитву. После этого мне поднесли перевод «Оттепели» и начали спрашивать, почему меня критиковали на Втором съезде советских писателей. Я встретился в Мадрасе и с писателями, которые пишут на тамильском языке, в Калькутте с бенгальскими писателями, а в Дели с писателями языков хинди и урду. Когда переводили вопросы, мне казалось, что я в Риге или в Ереване. В Калькутте меня повели к художнику Джемини Рой. Он походил на старого монаха. Я видел его вещи, равно связанные с новой французской живописью и с народным искусством Индии. В музее Дели поражает комната, где висят холсты Амриты Шерл Гил. Она была дочерью сикха и венгерки, училась в Париже, вернулась на родину, вдохновилась фресками Алжанты, умерла молодой (в двадцать восемь лет) и положила начало современной живописи

Индии. Я подружился с молодыми художниками. Рам Кумар в Париже был учеником Леже, участвовал в движении сторонников мира, и, однако, в его работах было нечто традиционное. Когда мы с ним поехали в Матхуру, я видел, как ему близка скульптура эпохи Гуптов. Хеббар работает в Бомбее, мы с ним ездили в Аджанту и Эллору. Его холсты вполне современные, и, наверное, некоторые из наших критиков его обвинили бы в «модернизме», но такой «модернизм» идет прямо от V - VI веков.

Не знаю почему, немецкие расисты ссылались на Индию, называли себя арийцами, даже перенесли на свои флаги один из древнейших знаков индуизма - свастику. В действительности Индия - смесь различных народов, рас, языков есть и жители юга, похожие на негров, и скуластые узкоглазые северяне, и смуглые красавицы Декана с горбатым носом и сжатыми губами.

В Индии я лишний раз убедился, что никакие законы, никакие пункты конституции не могут чудодейственно изменить сознание сотен миллионов. Индийская республика отменила бесправие парий, или, как говорили, касты «неприкасаемых», но в селах, где жизнь движется куда медленнее, чем в городах, устанавливали особые урны для «неприкасаемых» - иначе остальные не голосовали бы, да и в Мадрасе были особые храмы для парий. Я видел в университетах студенток, но еще повсюду положение женщин было далеко от провозглашенного равноправия; в деревнях вдовцы женились, а вдове брили голову, и никто не вздумал бы на ней жениться. Законы могут мчаться вперед, как самолеты, не приземляясь, а повседневная жизнь плетется по ухабам дороги со скоростью вола. (Об этом я много думал в 1957 году, в 1963-м, думаю об этом и теперь.)

Подавляющее большинство индийцев неграмотны, хотя повсюду я видел новые школы, видел я и как учили детей на воздухе. Здесь мне снова пришлось задуматься над прилагательным «культурный», которым у нас любят пользоваться в любом удобном и неудобном случае. Толпа в Индии очень «культурна». В день праздника на огромной площади в Дели негде было яблоку упасть, но никто не толкался, сидели на земле, поджав под себя ноги, и старались занять поменьше места. В тот же день был прием у президента, европейские и американские дипломаты показались мне варварами. Образование или материальная культура - количество автомобилей, состояние

дорог или полиграфии - еще не определяют духовного уровня народа; достаточно вспомнить Третий райх или «белых» в штатах Алабама, Миссисипи, Техасе. У неграмотных крестьян юга, у ремесленников Насика, у бедняков Калькутты были и такт, и душевная сосредоточенность.

В последний вечер (самолет отлетал около полуночи) я пригласил моих бомбейских друзей поужинать в ресторане. Пришли председатель общества дружбы Индия - Советский Союз профессор Бал ига, его жена, сотрудники общества, писатель Мулк Радж Ананл, художник Хеббар, другие друзья. В середине февраля в Бомбее уже было очень жарко, и я выбрал ресторан с кондиционированным воздухом. Я вспомнил, как Балига встречал нас в Карачи, и сказал ему: «Вы для меня много сделали - я стал умнее...»

В самолете я вскоре задремал - последний день в Индии был утомительным - и, проснувшись, увидел высоко солнце. Мы летели над Грецией, а внизу был снег, много настоящего снега. Зима в тот год была лютой; снегом были занесены сады Италии. Мы приземлились в Женеве. Две индийские женщины в легких сари пробежали к вокзалу. В Париже было шестнадцать ниже нуля. Сена замерзла.

Я купил в киоске вечернюю газету и прочитал: «Вчера утром в Кремле открылся XX съезд Коммунистической партии...»

Отпуск, подаренный мне судьбой, кончился.

Когда я вернулся в Москву, все говорили о выступлении Микояна на съезде - он упомянул об одной ошибочной концепции Сталина, смеялся над фальсификацией истории и назвал имена большевиков, убитых в эпоху культа личности,- Антонова-Овсеенко и Косиора. В резолюции съезда говорилось о разоблачении преступной деятельности «врага партии и народа» Берии, о вреде культа личности, о необходимости коллективного руководства. На следующий день «Правда» коротко сообщила о последнем заседании съезда 25 февраля: решено было подготовить новую программу партии, после чего Н. С. Хрущев объявил повестку дни исчерпанной.

В старой записной книжке я нашел такие строки: «На закрытом заседании 25/II во время доклада Хрущева несколько делегатов упали в обморок, их тихо вынесли». Рассказал мне об этом один из делегатов съезда.

Прочитав доклад Хрущева, я не упал и обморок: со времени смерти Сталина прошли три года, кое-что мы узнали, над многим успели задуматься. Ко мне приходили военные прокуроры, занимавшиеся реабилитацией Бабеля и Мейерхольда, приходили также друзья, вернувшиеся из концлагерей, по вечерам мы долго беседовали о недавнем прошлом. Однако не скрою: читая доклад, и был потрясен, ведь это говорил не реабилитированный в кругу друзей, а первый секретарь ЦК на съезде партии. 25 февраля 1956 года стало для меня, как для всех моих соотечественников, крупной датой.

Я сказал, что был о некоторой степени подготовлен к докладу Хрущева, но я хорошо понимаю, как были поражены многие делегаты съезда, приехавшие из далеких совхозов и колхозов. Еще за две недели до первого заседания они видели в газетах поздравительные телеграммы К. Е. Ворошилову, в которых некоторые зарубежные главы социалистических государств называли Климента Ефремовича «соратником» Сталина.

Начали читать доклад (или письмо ЦК) сперва партийным, потом и беспартийным. Месяц-два спустя десятки миллионов уже знали, как

они прожили четверть века. Повсюду говорили о Сталине - в любой квартире, на работе, в столовых, в метро.

Встречаясь, один москвич говорил другому: «Ну, что вы скажете?» Он не ждал ответа: объяснений прошлому не было. За ужином глава семьи рассказывал о том, что услышал на собрании. Дети слушали. Они знали, что Сталин был мудрым, гениальным, что он, и только он, спас Родину от нашествия; на уроках географии они учили, что высочайший пик нашей страны называется пиком Сталина, что такие же пики имеются в Чехословакии и Болгарии, что столица Таджикской республики - Сталинабад, что в Осетии есть город Сталинири, в Кузбассе Сталинск, в Подмосковном угольном бассейне Сталиногорск, в Донбассе Сталино, и вдруг они слышали, что Сталин убивал своих близких друзей, что, не доверяя старым большевикам, он заставлял их признаваться, будто они пообещали Гитлеру Украину, что он свято верил в слово Гитлера, одобрившего пакт о ненападении. Сын или дочь спрашивали: «Папа, как ты мог ничего не знать?»

Всего три года тому назад москвичи давили друг друга, чтобы добраться до Колонного зала, люди несли на плечах детей, проходя мимо гроба Сталина, женщины голосили. Кажется, история не знала таких похорон. Сталин еще покоился набальзамированный рядом с Лениным, его статуи продолжали красоваться на площади любого города, его портреты по-прежнему висели в кабинетах, в столовых, школах, магазинах. Мальчик по-прежнему отвечал, что высочайшая вершина Советского Союза - это пик Сталина, а девочка повторяла заученные стихи:

Нет слов таких, чтоб ими передать
Всю нестерпимость боли и печали,
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по вас, товарищ Сталин!

Мифы создавались веками и веками гасли, рассеивались, забывались. Люди постепенно и мучительно начинали понимать, что на небесах нет Господа Бога или, по меньшей мере, что его наместник в Ватикане незаконно присвоил себе это звание. А ранней весной 1956 года миф о Сталине был сразу разбит. Тот, кого люди называли великим, мудрым, гениальным, чье имя повторял Якир, когда его вели на расстрел, кому французская мать послала единственное, что у нее

осталось,- шапочку замученной гестаповцами дочки, этот сверхчеловек оказался честолюбивым, подозрительным и жестоким. Иностранцы удивлялись, как советские люди выдержали такое испытание.

Две недели спустя заграничные корреспонденты начали передавать из Москвы отдельные подробности о деятельности Сталина, иногда правильные, иногда перевернутые. 4-го июня Государственный департамент США опубликовал текст доклада. Вскоре в «Правде» появилась статья Генерального секретаря Коммунистической партии Соединенных Штатов Ю. Денниса, перепечатанная из газеты «Дейли уоркер». Под текстом была сноска:

«Говоря о докладе Н. С. Хрущева, Ю. Деннис имеет в виду текст, опубликованный Госдепартаментом».

Однако то, о чем писал Деннис, не опровергалось, кроме упоминания об аресте еврейских врачей; газета сделала вторую сноску, напоминая, что среди арестованной группы врачей были не только евреи, но также русские и украинцы.

О докладе на закрытом заседании писали все газеты мира. 30 июня 1956 года ЦК принял постановление «О преодолении культа личности и его последствий».

В этом постановлении говорилось, что «Сталин повинен во многих незаконных действиях» и что следует помнить о «серьезных ошибках, допущенных Сталиным в последний период жизни». Хрущев, однако, говорил о «незаконных действиях» Сталина начиная с декабря 1934 года, таким образом, «последний период жизни» длился восемнадцать лет.

Доклад, который сделал на XX съезде Н. С. Хрущев, был посвящен одному человеку, его подозрительности, жестокости, властолюбию. Перед всеми вставал вопрос, почему Сталин, доверяя Ежову или Берии, не задумывался над трагическими письмами старых большевиков Эйхе или Постышева.

Борясь с «культом личности», легко было вернуться к этому же культу: слишком многое приписывалось воле, характеру, мрачным чертам разоблачаемого. Персонаж был сродни некоторым героям Достоевского.

Не знаю, привлечет ли внимание романиста будущего Сталин и удастся ли автору дать глубокий психологический анализ человека,

одно имя которого вызывало восторг или ужас у сотен миллионов его современников. В шестой части этой книги я признавался: «Я не могу дать портрет Сталина - я его лично не знал, видимо, он был человеком сложным, и рассказы людей, встречавшихся с ним, противоречат один другому». Дальше я писал: «Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства». (Один из сотрудников «Литературной газеты» распространил «Открытое письмо Илье Эренбургу»; он писал, что дело не в моральной оценке и что нельзя назвать умным государственного деятеля, совершившего много неумных поступков. Письмо меня не переубедило. Историки обнаружили достаточно неумных поступков у людей, которые были умными: у Цезаря, Наполеона, Людовика XIV, Петра Великого. Однако трудно себе представить, что неумный человек смог очернить, а потом уничтожить почти всех руководителей своей партии и четверть века единолично управлять великим государством, такое предположение мне кажется оскорбительным для нашего народа.)

Моральная оценка не деталь, а суть вопроса. Рассказывая о «беззаконных действиях» Сталина, Хрущев оговаривал, что Сталин был честным коммунистом и что дурные дела он совершал во имя хорошей цели. Именно это мне кажется неприемлемым. В шестой части я писал, что цель не может оправдывать средства и что средства способны изменить цель. Труды Маркса и Энгельса, философская концепция и государственная практика Ленина гуманистичны. Сталин, не расставаясь с идеями, воспринятыми им в молодости, применял средства, которые им противоречили, он был бесчеловечен.

Я не политик, а писатель, казалось бы, что меня должна была увлечь сложная и противоречивая натура Сталина; однако я куда больше думал о том, как Сталин мог столь долго определять чертами своего характера развитие советского общества. Я сказал, что я писатель, но я также советский гражданин, и не раз в моей жизни я забывал о своем ремесле ради защиты тех идеалов, которые мне казались высокими. Хрущев говорил о «серьезных ошибках Сталина», но он не объяснил, какие обстоятельства позволили Сталину столь длительно и глубоко ошибаться. Мы так и не узнали, почему Тринадцатый съезд партии, несмотря на предостережение Ленина, обладавшего огромным авторитетом, переизбрал Сталина Генеральным секретарем. Я не знаю, как могло получиться, что

Сталин, договариваясь с одной группой Политбюро, чернил, а потом уничтожал другую группу, чтобы два или три года спустя унижить и убить своих вчерашних союзников. Каким образом «Коба» революционного подполья, известный только тысяче-другой партийных работников, десять лет спустя превратился в «отца народов»? Почему партия, показавшая подлинное мужество в отражении вражеских диверсий, в индустриализации отсталой страны, в обороне Родины от слывшего непобедимым рейхсвера, не воспротивилась культу Сталина, шедшему вразрез и с марксизмом, и с демократическим духом Ленина? Мне казалось, да и теперь кажется, что куда важнее разгадать не характер Сталина, а то, что позволило превращение грубого, но словам Ленина, и малоизвестного человека в «вождя», «кормчего», «полководца», которого ежедневно восхваляли члены Политбюро и лишенцы, маститые академики и ученики первого класса.

XX съезд сделал невозможным возврат к культу Сталина. Римский император Юлиан в IV веке нашей эры пытался восстановить культ древних богов; однако мало кто задерживался у новых статуй обитателей старого Олимпа.

Конечно, сразу после съезда, как и потом, я встречал людей, осуждавших разоблачение культа; они говорили о «роковом ударе», якобы нанесенном идее коммунизма. Видимо, они не понимали, что пока существует социальное уродство капитализма, ничто не сможет остановить наступление новой экономики, нового сознания. Особенно страшила скрытых защитников Сталина молодежь. Я помню ужин в индийском посольстве, где я встретил нескольких советских деятелей, которые за чашкой чая, не очень громко, чтобы не расслышали хозяева, говорили о «разнузданности» студентов: «К ним нельзя показаться...» Я был несколько раз на собраниях студентов и видел всю несправедливость таких суждений: меня спрашивали, слушали, разумно отвечали. Именно в 1956 году показалось то новое поколение нашего общества, которое трудится, может быть, с менее пышными словами, но с большей взыскательностью.

В мае 1965 года я возвращался из Москвы в Новый Иерусалим и включил радио - передавали торжественное заседание по случаю двадцатилетия победы над фашистской Германией. При имени Сталина я услышал хлопки. Не знаю, кто аплодировал; не думаю,

чтобы таких было много. Наверно, с именем Сталина у них связывалось представление о величии и неподвижности: Сталин не успел их арестовать, а оклады были выше, да и не приходилось ломать голову над каждым вопросом. Люди легко забывают то, что хотят забыть, а теперь ничто не мешает им спокойно спать.

Вернусь к весне 1956 года. Ко мне пришел молодой студент Шура Анисимов, приглашал меня выступить перед его товарищами. Вдруг он сказал фразу, которую я записал: «Знаете, сейчас происходит удивительное - все спорят, скажу больше - решительно все начали думать...» Конечно, он не знал, что молодому поколению предстоит еще многое пережить. Не знал этого и я. Но вспоминаю я о той весне с большой нежностью, как будто и я был молоденьким Шурой, на спине которого прорезались крылья.

Вдова моего друга Роже Вайяна дала мне прочесть часть его дневников, которые готовятся к опубликованию. Вот страница 1956 года - она относится ко времени действия моей книги:

«8 июня.

Возвращение из Москвы.

Две недели назад, когда и приехал, статуя Сталина стояла в зале аэродрома. В день моего отъезда она еще была на месте, но покрытая белым чехлом. Скоро ее снимут...

Я любил даже словечки, которыми он злоупотреблял. Он закладывал фундамент речи и потом говорил: «далее». Мне это нравилось. Но теперь мне пришлось снять его портрет над письменным столом...

Никогда больше я не повешу на мои стены чье-либо портрета.

В углу над пачкой с книгами о французской революции висели две большие гравюры той эпохи - «21 января 1793 года» и «16 октября 1793 года». Я их тоже снял. На одной палач показывает толпе голову Капета; на другой - палач подымает нож гильотины, его помощники ведут на эшафот Марию Антуанетту, толпа аплодирует. Будь я членом Конвента, я голосовал бы за казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты, я хочу сказать, что и теперь при подобных обстоятельствах я проголосовал бы за смертный приговор. Но Мейерхольд, которого я любил и люблю, был расстрелян по несправедливому приговору Сталина, которого я любил. Никогда больше я не смогу радоваться крови моих врагов, разве только если она пролита мною в честном бою.

Сердце у меня не чувствительное. Когда я порвал с женщиной, которую любил больше всего, я смотрел, как она спускалась с чемоданом по лестнице. Она повернула ко мне заплаканное лицо. Но я не заплакал...

В июне 1940 года при разгроме моей страны я не пролил ни одной слезинки, я скорее был доволен - французы меня возмущали своей любовью к загородным домам и маленьким автомобилям.

Но я плакал, узнав о смерти Сталина. И я снова плакал в Праге, возвращаясь из Москвы, всю ночь я проплакал - я должен был вторично его убить в своем сердце, прочитав про его злодеянии.

В одну и ту же ночь я плакал над Мейерхольдом, убитым Сталиным, и над Сталиным, убийцей Мейерхольда. Я повторял слова Брута из шекспировского «Юлия Цезаря»:

«Я любил Цезаря, и я его оплакиваю. Он преуспевал в своих начинаниях, и я радовался. Он был отважным, и я его чтил. Но им овладело властолюбие, и я его убиваю»,

Я повторяю: «Я любил Сталина, и я плакал над ним. Он преуспевал в своих начинаниях, и я радовался. Он был отважным, и я его чтил. Но он стал деспотом, и я его убиваю...»

Я себя чувствую мертвым.

Кажется, что ты на гребне времени и вдруг видишь, что История вступила в новую фазу, а ты этого не заметил...»

Я переписал эту страницу из дневника Вайяна и задумался: какое у нас проклятое ремесло! Даже разговаривая с самим собой, писатель невольно пропускает слезы, желчь, кровь через колбы литературной лаборатории. В той же тетрадке дневника Вайян вспомнил о своей тяжелой болезни: «Очень важно вот что: как только я понял, что я умираю, я начал подыскивать слова, чтобы описать свою смерть. То же самое случилось, когда меня настигла беда любви... Нет, я не скажу, как сказал мне французский товарищ в Москве: «Мы уже никогда не сможем быть счастливы». Я - писатель, следовательно, я не имею нрава на полное несчастье».

А в действительности Роже Вайян был вдвойне несчастен - и как писатель, и как человек. Два существа жили в одном теле. Иногда автор романа навязывал Роже свою концепцию жизни, иногда человек вмещивался в план романа. Нужно ли говорить, что в ту ночь в Праге, о которой упоминается в дневнике, Вайян не думал о Цезаре и Бруте - он не писал, он плакал.

Вайян любил людей XVIII века, увлекавшихся, но не увлекаемых, упоенных - однако в то же время трезвых,- кардинала Берни, авантюриста Казакову, автора романа в письмах «Опасные связи» Лакло. Среди писателей прошлого века он особенно чтит Стендаля. Но и Стендаль, описывая стратегию любви, вдруг поддавался чувствительности Анри Бейля - и когда рассказывал, как к

осужденному Жюльену приходит его школьный товарищ крестьянин Фуке, и когда в письме из Чивитавеккья признавался своему двоюродному брату: «У меня две собаки, я их очень люблю. Английский спаниель, черный, красивый, но печальный меланхолик, другой «лупелло» - волчонок, цвета кофе с молоком, веселый, находчивый характер молодого бургундца. Мне было бы слишком грустно, если бы не было никого, кого я могу любить...»

Когда Вайян умер, все газеты писали о его «холодном взгляде». Так он назвал сборник эссе, и так он старался выглядеть перед журналистами или критиками. Я никогда не видел «холодного взгляда» - его глаза веселились или отчаивались, но холода в них не было.

Нет, однажды я увидел «холодный взгляд». Это было летом 1948 гола. После Вроцлавского конгресса, в котором Вайян участвовал, поляки повезли меня в Краков; там в кафе «Комедиантов» я встретил Вайяна, Гуттузо, польских друзей, молодую женщину, приехавшую на конгресс из Бразилии. Эта женщина нравилась Вайяну, он пил «старку» и настойчиво ухаживал, то ласково, то слегка пренебрежительно - того требовала традиционная стратегия. Именно тогда я случайно перехватил леденящий взгляд Роже.

Мейерхольда он мог увидеть в 1930 году. Он был тогда молоденьким поэтом-сюрреалистом, а я познакомился с ним позднее - его мне представил, кажется, Рене Кревель в одном из кафе Монпарнаса. Вайян попросил Любу давать ему уроки русского языка. Из учебы ничего не вышло. Вайян бросил писать стихи, стал журналистом. Газета «Пари-суар» посылала его в экзотические страны. Он много пил. Я хорошо помню его взгляд не холодный, но затуманенный наркотиками, длинные упрямые волосы и профиль птицы.

Я надолго потерял его из виду. Вскоре после конца войны я прочитал первый роман Вайяна «Странная игра». Это была книга об одной группе Сопротивления. Героя романа звали Маратом, а одного из его товарищей, коммуниста,- Родриго. Роман имел успех, Вайян сразу вошел в литературу, но слава его не прельщала - он думал о другом: не описать жизнь, а ее переделать.

Утром в краковской гостинице он говорил мне тихо, почти стесненно: «Я должен буду от многого отказаться...»

В 1952 году правительство Пино хотело запретить коммунистическую партию. Дюкло был арестован по вздорному обвинению. Тогда Вайян послал ему в тюрьму заявление с просьбой принять его в партию.

Вчерашние читатели и почитатели отшатнулись от Вайяна. «Завербованный» - таково было стандартное клеймо эпохи. Вайян хотел быть дисциплинированным. Перед отъездом в Египет он выбросил наркотики. Корабельный врач удивился непонятной болезни пассажира, но Вайян скорее умер бы, чем рассказал бы ему о причине заболевания. В Египте его арестовали, потом выпустили; он написал о том, что увидел. Он продолжал противоречить себе, товарищи то восхищались им, то негодовали. Я его полюбил.

Мы встретились на несколько часов в Жюльена - у меня там были старые друзья - виноделы, а Вайяну было недалеко, он поселился в деревне возле Бурже. Он женился на милой и заботливой итальянке Элизабет, много работал. У нас оказалась и общая страсть - Роже разводил розы, гвоздики, подсолнухи, говорил о влиянии света и влаги, о гибридах, о работе селекционера.

Кажется, за год до этой встречи он увлекся театром Расина, утверждал, что необходимо единство места и времени действия, мечтал о новом Возрождении и, увидев впервые Москву, писал: «Я предвижу Возрождение в 1960 - 1970 годы, оно расцветет в России, и тогда в московских театрах начнут ставить трагедии, вдохновляясь французским театром XVII века, разумеется, с новым содержанием, соответствующим строительству коммунизма. Уже архитектура в стране социализма нашла нормы больших ансамблей абсолютной монархии».

Год спустя он написал хороший роман «Бомаск» и не думал больше о классиках. Он описал жизнь рабочих и крестьян в поселке, где поселился. Это и по форме нечто новое: повествование, записки автора, письма, газетные заметки, экономика - рассказ о крупном тресте. Я написал предисловие к русскому переводу («Пьеретта Амабль») и в нем говорил: «Особенно удалась Роже Вайяну героиня книги. Мы ее видим и когда она прилежно записывает в тетрадку партийные задания, и когда она сурово отвечает на любовные признания представителя той династии, которой принадлежит фабрика, и когда отдастся «Бомаску». В ней слиты воля и смущение,

суровость и нежность... Любви посвящены сотни современных французских романов. В одних мы видим состязание самолюбивых партнеров, в других скуку, повторность приевшихся слов и жестов, в третьих - самомучительство. Сцена в лесу, когда Пьеретта и «Бомаск» дают волю своим чувствам,- редкая находка в современной литературе, столько в ней страстности и чистоты».

Осенью 1955 года Вайян и Элизабет заехали за мной в Савойю, где я ночевал у Пьера Кота, мы сговорились, что Роже отвезет меня в Париж. Он обожал скорость. Я сидел рядом с ним и видел, как стрелка добегала до цифры 200. Мы пообедали в чудесном ресторане, там нас попотчевали лягушачьими лапками с чесноком. Беседа была извилистой и долгой. Перед тем как уехать, мы пошли посмотреть на лягушек: они сидели в яме, их было очень много, и те, что находились в верхнем ряду, глядели черными, неподвижными глазами. Жить им оставалось недолго. Роже глядел на них. Потом мы снова мчались. Вайян командовал: «Сигарету!», Элизабет закуривала и вставляла ему в зубы. Иногда мы останавливались. Роже заказывал виски. Элизабет выпивала почти всю его порцию, он не спорил и вскакивал в машину. Он хотел показать мне, как начинается Сена: «Маленький ручеек...» Мы сидели в темном пустом баре. Он говорил о том, как писал когда-то стихи, о Рембо, о смерти: «Она входит в жизнь. Грнмаса и только...» Потом неожиданно спросил: «Помните глаза лягушек?» Я рассказывал о Хемингуэе и Испании, о реабилитации Мейерхольда, о Москве. Опустилась ночь. Роже гнал машину, и вдруг отказали фары. Он резко затормозил. Мы вышли из машины. Я закурил и при свете спички увидел его лицо, покрытое капельками пота. Мы добрались до Труа и решили там заночевать - утром исправят фары. Он вдруг признался: «Это было здорово страшно».

Я дошел до времени, с которого начал,- XX съезд, осень, Венгрия. Один из близких друзей Вайяна потом рассказал мне, что Роже думал о самоубийстве. Держался он хорошо, не было того духовного экзгибиционизма, которым страдали некоторые интеллигенты Запада, в том числе друзья Вайяна, уходившие из партии, возвращавшиеся, снова уходившие и выкладывавшие все свои душевные терзания чуть ли не в каждом номере левых еженедельников. Вайян, да и то нехотя, подписал одно из многочисленных коллективных заявлений и несколько лет спустя признался в дневнике, что жалеет об этой

подписи. Он хотел молча отойти в сторону и задуматься над тем, что приключилось не только с ним, но и с миром.

Элизабет повезла его в Южную Италию, в Аbruцци. Там он написал, кажется, свою самую совершенную книгу- «Закон»; я не называю ее лучшей, но выполнена она лучше других. В романе нет никаких прямых или скрытых объяснений того, что мучило Вайяна. Это мрачная и безысходная книга. Заглавие относится к игре, которая процветает на юге Италии. Игроки бросают кости или играют короткую партию в карты. Тот, кто выигрывает, становится «хозяином». У него право говорить или не говорить, допрашивать и отвечать за допрашиваемого, хвалить и осуждать, оскорблять, злословить, клеветать, унижать достоинство других: проигравшие, подчиненные его закону, должны молча переносить все. Таковы правила игры «закон».

Та же злая игра определяет жизнь городка. Есть один мудрец - разорившийся помещик Дон Чезаре. Он собирает уже по привычке реликвии некогда процветавшего древнегреческого города. Давно все стало ему «неинтересным». В игре выигрывают худшие. Гангстер Бриганте после смерти Дона Чезаре договаривается с образумившейся девчонкой Мариеттой - они совместно откроют великолепный бордель для иностранных туристов.

Книга получила Гонкуровскую премию. Былые читатели и почитатели снова потянулись к Вайяну: они считали, что семидесятилетний Дон Чезаре говорит за автора, которому тоже все «неинтересно».

А Роже в своем домике разводил растения, писал и терпеливо искал ответа на многие вопросы, которые продолжали его страстно интересовать. «Закон» свирепой игры не стал для него законом жизни.

Три года спустя он прислал мне новый роман «Праздник». Теперь я вижу, что некоторые фразы выписаны из дневника 1956 года, например, мысли главного героя, стареющего писателя Дюка: «Он вдруг понял, что после XX съезда КПСС История вступила в новую фазу без того, чтобы он это заметил... Дети большевиков управляют третьей частью земного шара, и они посылают ракеты на Луну». Молодой писатель Жан-Марк возражает: «Революция вышла из моды». Дюк говорит: «Она переименовала имя. Она примет формы, которые нельзя себе представить».

Он заболел в ноябре 1964 года и уже тяжело больной написал статью «Похвала политике», в ней он говорил: «Мне надоели разговоры о планировании, об изучении рынков, о кибернетике, об оперативных операциях: это дело специалистов. Как гражданин я хочу снова найти, я хочу словами вызвать политические действия (действительно политические), я хочу, чтобы мы все снова стали политическими людьми».

В конце февраля 1965 года я был в Париже. Вернувшись в гостиницу «Пон рояль», где я обычно останавливался и где останавливался Вайян, когда приезжал на несколько дней в Париж, я оказался в лифте с человеком, который показался мне необычайно знакомым. Он со мной заговорил, я отвечал смущенно, думал: кто это? Он вышел на третьем этаже, я жил выше. Мальчик-лифтер сказал: «Мне кажется, что вы не узнали мсье Роже Вайяна...» Я тотчас спустился в его номер: «Роже!...» Он, улыбаясь, сказал: «Меня не узнают многие. Я заболел каким-то вирусным бронхитом. Вот уже три месяца... Меня лечили, стали выпадать волосы, вот я и побрил голову наголо».

Его лицо было ярко-красным, как будто он обжегся на тропическом солнце. Голова без привычных волос выглядела другой. Но глаза горели по-прежнему.

Он сказал мне, что чувствует себя лучше, начал новый роман. Хочет поехать в Латинскую Америку - там народы приподымаются, борются... Он заговорил со страстью давнего Роже. Вдруг закашлялся. А когда я уходил, он спросил: «Как ваши цветы? Мы это одинаково понимаем: сеять, пикировать, они растут, цветут, потом умирают». Помолчав, он добавил: «Помните лягушек в яме?...»

Элизабет сказала Любе, что Роже дотянет только до весны у него рак легких; ни врачи, ни она ему об этом не говорят.

Он, наверно, не хотел выпытывать медицинскую тайну - знал свою: «Смерть это жизнь, ее последняя гримаса».

Он умер в мае 1965 года в домике с розами.

Французы говорят, что дни следуют один за другим и не похожи друг на друга, это можно сказать и про годы. 1956 год ни на что не походил. Обычно я корю себя за легкомыслие, но в ту весну, в то лето чрезвычайно легкомысленными были все, и все надеялись, умные и дураки, честные и бесчестные. Каждый, конечно, на свой лад. Одни надеялись на память, другие на забывчивость. Чересчур много было надежд, и длинные трудные разговоры о прошлом неизменно кончались улыбками. Роже Вайян плакал, что был не на склонах Олимпа, а в театральном зале. Что касается нас, то эту трагедию мы не смотрели, мы в ней играли, и мы не плакали.

Конечно, жизнь продолжалась, люди работали, влюблялись, расставались, болели. В тот год умерли Фадеев, Брехт, Ирэн Жолио-Кюри. Но цифра «1956» мне кажется абстрактной: трудно объединить быстро сменявшиеся события, и мне хочется написать о том времени, не следя за нитью повествования, чтобы, напомнить читателям о лихорадочном состоянии, в котором находились я, мои друзья и знакомые.

Ранней весной в Стокгольме собралась очередная сессия Всемирного Совета Мира, и я убедился, что чрезмерный оптимизм был болезнью, свойственной не только моим соотечественникам. Все говорили о разоружении. Итальянский сенатор Корона, близкий к Ненни, утверждал, что в борьбе за разоружение можно объединить все миролюбивые силы. Выступавшие, в том числе китайский министр водного хозяйства, говорили то же самое, и все друг другу улыбались.

В мае Фадеев покончил с собой. Москва наполнилась слухами: хотели разгадать, почему человек с железной волей вдруг выстрелил в себя. Рождались фантастические версии. В сообщении собирались указать, что Александр Александрович выстрелил себе в грудь в состоянии запоя; между тем писатели знали, что последний месяц он не выпил ни одной рюмки; некоторые запротестовали, М. С. Шагинян куда-то звонила, угрожала, что последует примеру Фадеева. В итоге газеты, сообщив о его хронической болезни, не попытались объяснить самоубийство состоянием опьянения.

Я стоял с другими в Колонном зале у гроба. Когда человек умирает, перестаешь думать о том или ином его поступке, он вдруг встает во весь рост, и мне было тяжело, что от нас ушел большой писатель. Эта смерть как бы врезалась тенью в ту весну, когда почти все люди, с которыми я встречался, были настроены радужно.

А. Е. Корнейчук сказал мне, что нам нужно посоветоваться с Н. С. Хрущевым по некоторым вопросам, связанным с расширением Движения сторонников мира; он добавил, что Никита Сергеевич хочет познакомиться со мной. Деловая сторона разговора заняла четверть часа, и я хотел было встать, когда Хрущев заговорил о моей «Оттепели». Он сказал, что случайно прочитал мою повесть, не со всем со мной согласен, а потом добавил: «Не знаю, почему они на вас накинулись?... Вероятно, из-за заглавия. А заглавие хорошее...» (Я не спросил Никиту Сергеевича, кого он имеет в виду, говоря «они».) Потом Н. С. Хрущев начал рассказывать про Сталина, рассказывал он интересно, и многое для меня было новым, но я не хочу об этом писать - разговор был частным. Когда он устал от рассказа (просидели мы у него часа два), я попробовал вступить за М. М. Зощенко, которого продолжали обвинять в мнимых преступлениях.

Хрущев нахмурился и сказал, что «Зощенко плохо себя ведет»: в Ленинграде пожаловался английским студентам. Тогда я рассказал, что произошло в действительности. В Советский Союз приехала делегация какого-то союза английских студентов; может быть, они хорошо распределяли между товарищами стипендию и разбирались в хоккее или футболе, но общий культурный уровень их был невысок. Однако в Москве они захотели побеседовать с С. Я. Маршаком и мной. Меня долго уговаривали, наконец я согласился и пошел в Союз писателей. Разговаривали студенты отнюдь не по-джентльменски. Я отвечал резко, а Самуил Яковлевич астматически дышал. Меня возмущало, что двух далеко не молодых писателей уговорили прийти и отвечать на вопросы развязных юнцов. Потом студенты отбыли в Ленинград и там потребовали встречи с Зощенко. Михаил Михайлович пытался отнекиваться, но его заставили прийти. Один из студентов спросил его - согласен ли он с оценкой, которую ему дал Жданов. Зощенко ответил, что Жданов назвал его «подонком» и что он не мог бы прожить и одного дня, если бы считал это правильным. Так была создана скверная версия - «Зощенко пожаловался англичанам».

Н. С. Хрущев не дипломат, и, глядя на него, я сразу понял, что он мне не верит, да он и сказал: «У меня другая информация...» Я ушел с горьким привкусом: намерения у него хорошие, но все зависит от «информации» - кого он слушает и кому верит.

В начале лета в Москву приехал бразильский архитектор с письмом от моего друга Жоржи Амаду. Его хорошо приняли, и он увидел все, что может увидеть иностранный турист. Он долго со мной беседовал, спрашивал, что думают о XX съезде обыкновенные советские люди. На следующий день в одной из районных библиотек должна была состояться читательская конференция о моей «Оттепели». Я дал молодой переводчице билет и сказал, чтобы она не говорила, кто с ней: «Сядьте в уголок и переводите шепотом, на ухо».

Конференция была интересной; люди, не попавшие в зал, толпились на улице возле раскрытых окон. Выступавшие рассказывали о том, что пережили, говорили о больших переменах и об еще больших надеждах. Помню, как все насторожились, когда слово попросил милиционер в форме. Он сказал, что хочет выступить как читатель, и растрогал всех, рассказав, что стоял на посту на Красной площади, когда подошел старый большевик, вернувшийся из Колымы, и попросил помочь ему дойти до Мавзолея: «Он, товарищи, знал Ильича, вот что...»

В углу сидели красивая девушка и молодой человек, они все время о чем-то шептались. Им начали посылать записки «уходите», «здесь не место для любовных объяснений», «хватит, убирайтесь!». Когда конференция кончилась, я увидел на улице бразильца и переводчицу, окруженных толпой. Я бросился к ним, объяснил, что пригласил бразильца, а это - его переводчица, и люди, только что грозившие избить рослого парня, начали его обнимать. А он благодарил меня: за один вечер он многое понял.

В конце июня я поехал в Париж на Бюро Всемирного Совета Мира. Все только и говорили, что о докладе Хрущева. Я не понимал почему - для меня то было давней историей. Только на следующее утро я узнал, что газета «Ле Моид» напечатала текст доклада. Большинство людей, с которыми я встречался, ужасались прошлым, но верили в будущее. Были и другие, один даже сказал мне: «Это закамouflированный термидор!»

Жолио-Кюри держал себя умно и сумел объединить участников сессии: необходимо добиться сближения всех миролюбивых сил. В декларации говорилось: «...Всемирный Совет Мира будет постоянно искать контакта со всеми организациями, работающими для дела мира. Он стремится вступить в диалог с этими организациями и предпринять с ними некоторые совместные действия на основе уважения особенностей и позиций каждого участника. Совет Мира считает, что такая деятельность должна проводиться в условиях полной независимости по отношению к правительствам и политическим партиям и единственно на пользу делу мира. Совет Мира предпримет, со своей стороны, все преобразования и изменения, способные облегчить такие совместные действия». Мы брали на себя серьезное обязательство, это было, кажется, единственной попыткой обновить и расширить движение. Однако четыре месяца спустя изменилась не только международная обстановка, но и позиции любого участника сессии.

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришли сотрудники «Литературной газеты» и предложили написать о стихах Бориса Слуцкого: «Наш редактор в отпуске, и мы статью напечатаем». Я написал небольшую статейку, и ее напечатали. Я говорил о «гражданственности» поэзии Слуцкого, он писал о минувшей войне, о связистках и пленных, о трудной жизни и героизме народа, без ура-барабанов и без сентиментальности. «Называя поэзию Слуцкого народной, я хочу сказать, что его вдохновляет жизнь народа, его подвиги и горе, его тяжелый труд и надежды, его смертельная усталость и непобедимая сила жизни». Я вспомнил музу Некрасова, оговаривая: «Я не хочу, конечно, сравнивать молодого поэта с одним из самых замечательных поэтов России. Да и внешне нет никакого сходства...» Я удивлялся, почему не издали книги Слуцкого, почему печальное стихотворение о военном транспорте с лошадьми, потопленном немцами, напечатал только журнал для детей «Пионер». Кончал я статью словами надежды, продиктованными годом: «Хорошо, что настало время стихов».

Редактор вернулся из отпуска, и десять дней спустя в газете появилась статья, подписанная преподавателем физики одной из московских десятилеток. По своей специальности автор статьи мог не разбираться в поэзии, да и в родном языке; но, будучи, видимо,

человеком достаточно уверенным в себе, он обвинял Бориса Слуцкого в дурном мастерстве и даже в незнании русского языка. Он возмущался моей статьей: «Совершенно неясно ваше утверждение о том, что народный поэт должен воспевать и какую-то «смертельную усталость» народа. Ее, этой самой «смертельной усталости», и не замечаю ни у себя, ни у окружающих меня людей».

Статья была написана в хороню мне знакомом топе и подана под заголовком «Читатели о литературе». Это также не было новым: при Сталине, когда хотели очернить писателя, печатали индивидуальные или коллективные отзывы то учителей, то кочегаров, то агрономов.

В конце сентября и поехал в Венецию на ассамблею «Европейского общества культуры» и там прочитал доклад «О некоторых чертах советской культуры». «Общество» мне показалось несколько провинциальным. Его душой был итальянский профессор Умберто Кампаньоло. В своем докладе он говорил о культурной политике, говорил на том языке, на котором изъяснялись почти все участники ассамблеи. (В частных беседах все они, будь то философы, юристы или социологи, говорили куда проще.) Многие возражали Кампаньоло, говорили о том, как понимали слово «политика» Платой и Аристотель, надлежит ли применять категории Канта к морали современного общества. Кампаньоло тотчас отвечал каждому. Потом началось обсуждение влияния колониализма на культурную политику; здесь дебаты стали куда яснее: некоторые профессора защищали колонизаторов, в Индии они помогали борьбе с эпидемиями, а в Африке открыли первые университеты. Колониализм все же осудили. Прения после моего доклада были мирными - даже люди, настроенные антисоветски, старались говорить вежливо - такова была политическая погода.

На ассамблее я встретил двух моих приятелей: французского писателя Клода Руа и немецкого поэта Стефана Хермлица. Клод Руа был тогда коммунистом и после XX съезда потерял душевное равновесие. Напрасно я пытался его урезонить, он меня измучил своими мучениями. Хермлин был спокоен, поехал со мной во Флоренцию, в Рим; древности Италии ему, кажется, представлялись более актуальными, нежели события минувшей весны.

После конца заседаний я бродил по улицам Венеции. Это удивительный город - в нем нет автомобилей. Ночью кошки поедают

рыбьи отбросы, дерутся, отчаянно мяукают. Зеленоватые тона пробираются в комнаты, даже в зрачки глаз. Венецианцы, члены общества дружбы с Советским Союзом, пригласили меня провести с ними вечер. Я поделился с ними своим оптимизмом. А в моей голове засели стихи Мандельштама, написанные когда-то в Коктебеле:

Адриатика зеленая, прости!

Что же ты молчишь, скажи, венецианка,

Как от этой смерти праздничной уйти?

Заключительное заседание ассамблеи состоялось в Падуе. Я впервые увидел этот город и долго простоял перед фресками Джотто. Подражать им нельзя: у человечества другой возраст, но удивительно, как не стареют произведения искусства - фрески Джотто написаны в начале XIV века все с тех пор изменилось, а живопись восхищает нас, как некогда восхищала паломников.

Несколько дней в Риме прошли в беседах - Моравиа, Карло Лени, Пратолини, Малапарте, Унгаретти, обеды и ужины, споры о корнях слов и о фактуре живописи, словом, все, без чего я не мог провести дня в каком-либо европейском городе. А здесь еще предстояло серьезное политическое объяснение: когда я был в июне у Жолио, он говорил мне, что итальянские социалисты собираются покинуть Движение сторонников мира, просил поговорить с ними, когда я буду в Италии. Джаикарло Пайетта, когда я сказал, что хочу повидаться с Ненни, усмехнулся: «Что ж, попробуйте...»

Ненни жил в новом доме; на стене большой комнаты висела картина, написанная итальянцем, видимо, разделявшим эстетические концепции А. М. Герасимова. Впрочем, о живописи мы не говорили: с Ненни трудно было беседовать о чем-либо, кроме политики. Он человек обходительный, приятный, но политик с головы до ног. Впервые я увидел его в Испании в годы гражданской войны, а потом, начиная с 1949 года, мы встречались часто на различных заседаниях и конгрессах мира. Он умел прекрасно выразить сбивчивые выступления разноплеменных сторонников мира, а председателя лучше я не видел - он вежливо, но категорически обрывал словоохотливых людей, жаждавших повторить давно им известные истины.

Ненни сначала пожаловался мне, что Москва не понимает его позиций, а потом сказал, что времена меняются, социалистам с

коммунистами не по пути и он хочет добиться объединения с социал-демократической партией Сарагата. О своих будущих партнерах он говорил далеко не благожелательно, но поскольку речь шла о браке не но любви, меня это не удивило.

Когда он выложил все, я сказал, что влечение к социал-демократам никак не может помешать дальнейшему участию итальянских социалистов в борьбе за мир. Ненни обещал подумать и предложил мне на следующий день пообедать с ним.

Меня повезли по старой Апииевой дороге, и, глядя на изумительный пейзаж, я чуть было не забыл, какой разговор мне предстоит.

В ресторане оказались Ломбарди и Мартино. К моему удивлению, Ненни оказался самым сговорчивым, он упомянул о последней резолюции Бюро Всемирного Совета, указывающей на необходимость реорганизации движения, и посоветовал Ломбарди поехать на очередную сессию. Ломбарди не верил в реорганизацию, но согласился. Я считал, что дело сделано, и на обратном пути в Рим спокойно любовался древностями. Осень в Риме была не золотой, а серебряной - цвета олив и пахла чайными розами.

Я задержался на несколько дней в Париже и вернулся в Москву незадолго до выставки Пикассо. Еще весной при ВОКСе организовали «Секцию друзей французской культуры», меня выбрали ее председателем. Выставка Пикассо была одним из первых мероприятий секции. Организовать ее было нелегко. Кроме картин, имевшихся в Эрмитаже и в Пушкинском музее, Пикассо прислал нам сорок новых холстов. Художественными делами тогда еще ведал Л. М. Герасимов, и он пытался воспрепятствовать выставке. Но 1956-й не походил на 1946-й, и выставка открылась.

На вечере, посвященном ссидесятилетию Пикассо, скульптор Конёнков огласил послание художника: «Я давно сказал, что пришел к коммунизму как к роднику и что все мое творчество привело меня к этому. Я рад, что выставку, включающую мои последние работы, увидит в Москве широкая публика. Я часто получал письма из Москвы, в том числе письма от художников. Пользуюсь случаем, чтобы выразить им свою любовь...»

В перерыве приятель рассказывал мне, что на выставке шумно, вызвали даже милицию. Один из посетителей кричал: «Это не

искусство, а мазня, шарлатанство!» Его пробовали унять, но он продолжал шуметь. Тогда молодые люди его выбросили вон.

Впрочем, все это было присказкой, сказка была впереди.

День открытия выставки Пикассо совпал с первыми сообщениями о событиях в Венгрии. По газетам трудно было понять, что там происходит. 24 октября ТАСС сообщило: «На собрании венгерского ЦК первым секретарем переизбран Эрне Гере. Политбюро назначило премьер-министром Имре Надя», «Жизнь постепенно входит в нормальную колею».

25 октября. «Янош Кадар сменил Эрне Гере на посту первого секретаря». «Порядок восстановлен».

26 октября. «Объявлена амнистия всем участникам вооруженной борьбы, которые сложат оружие». «Сегодня снова вышли газеты».

27 октября. «Как указал в своем выступлении премьер-министр Имре Надь, в борьбе против фашистских элементов принимают участие, наряду с венгерской армией, советские войска, дислоцированные в Венгрии». «Составлено новое правительство».

28 октября. «Ночь прошла спокойно». «Отдан приказ, запрещающий открывать огонь».

29 октября. «Жизнь постепенно входит в нормальную колею».

30 октября. «В некоторых районах города происходит перестрелка. В тех же районах, где спокойно, население включается в деловую жизнь города». «Имре Надь заявил, что возглавляемое им правительство реорганизуется на основе коалиции демократических партий».

31 октября. «Советские войска выведены из Будапешта». «К вечеру жизнь в городе стала оживать».

1 ноября. «Вышла газета «Кмшуйшаг» - орган независимой партии мелких сельских хозяев». «В Будапеште открыты все продовольственные магазины».

2 ноября. «Промышленные предприятия продолжают бездействовать. Закрыты школы, театры, магазины, музеи, стадионы».

4 ноября. «Воззвание к венгерскому народу Революционного рабоче-крестьянского правительства. 23 октября в нашей стране началось массовое движение, благородной целью которого явилось исправление антипартийных и антинародных ошибок, совершенных

Ракоши и его сообщниками, защита национальной независимости и суверенитета. Слабость правительства Имре Надя и растущее влияние контрреволюционных элементов, проникших в движение, поставили в опасность наши социалистические завоевания... Премьер-министр Янош Кадар». Я слушал передачи из Парижа, Лондона. Они были пространны, но, разумеется, тенденциозны. «Дух Женевы» сразу выдохся. Соединенные Штаты считали, что народные демократии распадаются. «Свободная Европа», работавшая в Мюнхене, день и ночь науськивала, обещала военную помощь Запада, призывала покончить с коммунизмом. Кардинал Миндсенти требовал возвращения церкви монастырских угодий и от теологии легко переходил к политике. В Венгрию начали прибывать эмигранты. Через Австрию переправляли оружие сторонникам Хорти, совершались самосуды, о каждом убитом коммунисте говорили, что он - охранник. За двое суток родилось семьдесят политических организаций. Лишенное авторитета правительство не могло действовать: никто не выполнял его приказов.

Я не собираюсь дать исторический анализ событий 1956 года, не обладаю нужными данными, да это и не входит в рамки моей книги. Для меня было ясно, что в Венгрии, как в Польше, накопилось много недовольства: пришлось платить по счетам сталинской эпохи. В Польше оказался человек, сочетавший большой престиж с не меньшей волей. Ему удалось удержать народное волнение, обеспечить права Польши и закрепить ее верность социалистическому лагерю. Имре Надь не обладал ни авторитетом Гомулки, ни его волей. Он то призывал советские войска, то требовал их вывода, не мог остановить самосуды, признал политические партии, враждебные социализму, и, наконец, объявил о выходе Венгрии из Варшавского блока, а это означало бы коренное изменение сил в центре Европы.

Трагедия многих рабочих Венгрии в том, что, возмущенные режимом Ракоши и Гере, они вышли на улицы, боролись с оружием в руках за чуждые им цели; а трагедия советских солдат в том, что им пришлось стрелять в этих рабочих. Скажу о себе: ноябрь 1956 года был, кажется, самым трудным месяцем в моей жизни: чересчур было горько расплачиваться за чужие грехи.

Я побывал в Будапеште в 1964 году. Люди свободно разговаривали; в книжных магазинах было много переводов и

западных авторов и наших; каждый мог получить заграничный паспорт. Осенью 1963 года я встретил на ленинградском симпозиуме писателей Тибора Дери. Он просидел некоторое время в тюрьме, потом его освободили. Он побывал в Париже. Выступая на симпозиуме, он сказал, что в прошлом не сожалеет ни о чем. Лукач работает в Будапеште, его книги издаются. Юлиус Гай, которого я знал в Москве, уехал на Запад. А молодые писатели, с которыми я встречался, спорили о том же, о чем спорят их сверстники в Праге, в Москве, в Варшаве.

Вернусь к осени 1956 года. Воспользовавшись сумятицей, Израиль, а тотчас за ним Англия и Франция напали на Египет. Англо-французская авиация бомбила египетские города, израильская армия заняла Газу. Соединенные Штаты в ООН осудили агрессоров. Советский Союз потребовал немедленного прекращения военных действий. 7 ноября кровавая затея была остановлена.

2 ноября мне позвонил в Новый Иерусалим П. Н. Пospelов, сказал, что он и Л. М. Каганович хотят срочно со мной побеседовать. Я ответил, что у меня нет машины. Пospelов сказал, что машину тотчас пошлют, и три часа спустя я оказался в ЦК. Кагановича не было. Пospelов сказал, что он ушел час назад - у него срочные дела, но он поручил Пospelову побеседовать со мной.

Я думал, что разговор будет о Венгрии. Петр Николаевич, однако, показал мне текст обращения, протестующего против нападений израильских войск на Египет. Меня удивило, что речь шла почти исключительно об Израиле. Англия и Франция упоминались мимоходом. Я сказал об этом Пospelову. Петр Николаевич, несколько стесненный, объяснил мне: по мнению Кагановича, с которым он согласен, воззвание должно быть протестом советских граждан еврейского происхождения против действий Израиля. Потянуло февралем 1953 года. Я сказал Пospelову, что я не больше отвечаю за Бен Гуриона, чем он, и охотно подпишу этот текст, если он, советский гражданин русского происхождения, его подпишет.

Воззвание было опубликовано в «Правде» 6 ноября. Инициатор Л. М. Каганович своей подписи не поставил, но подписали текст тридцать два человека, среди них журналист Заславский, писатель Натан Рыбак, академик Минни другие.

Секретарь Поспелова вызвал машину, которая должна была доставить меня в Новый Иерусалим. Водительница, узнав, куда меня нужно везти, воскликнула: «Не поеду!» и добавила: «Боюсь одна возвращаться...» (В это лето было несколько случаев бандитских нападений на шоферов.) Я сказал, что попрошу другую машину, она вдруг запротестовала: «Да я вас отвезу. Просто разнервничалась...» Когда мы выехали из Москвы, она сказала: «А как тут не нервничать? Ведь что делают - людей убивают, рабочих...» Я решил, что она возмущена бомбежками Суэца. Она усмехнулась: «Да я про другое... Капиталисты иначе не могут. Я про наших... Что в Венгрии делается?» Она минуту помолчала, а потом снова заговорила: «Вот объясняют, что виноват Ракоши. А я его во время войны возила. Знаете, у меня грудного ребенка убили. Осколок бомбы... Он у меня на руках был... Я от горя с ума сошла, не ела ничего, не спала. Вот кто-то из шоферов мне сунул в рот папиросу. Я затянулась, и легче стало - туман в голове. Начала курить. Ракоши от кого-то услышал про мою историю и, когда получал папиросы - половину давал мне. Он со мной вежливо разговаривал, не как наши... А выходит, что рабочие его не захотели. Мне один из отдела рассказывал, что большой завод против нас. Ничего я не понимаю, голова кругом идет!...»

Шла голова кругом и у меня.

18 ноября в Хельсинки состоялось расширенное заседание Бюро Всемирного Совета. Я видел немало сессий и заседаний, происходивших в трудных условиях, но ничего похожего на то заседание не мог себе представить. Нужно было сохранить единство движения, хотя приехавшие не только по-разному рассматривали венгерские события, но неприязненно поглядывали друг на друга. В западных странах чуть ли не ежедневно происходили антисоветские демонстрации. Я знал, что Эррио, Мориак и Сартр вышли из Общества франко-советской дружбы. 18 ноября рано утром ко мне пришел д'Астье. Я позвал Корнейчука, д'Астье сказал, что необходимо предотвратить раскол, предложил компромиссную формулу. Мы посоветовались и решили согласиться.

Началось длительное и хаотическое обсуждение венгерских событий. Итальянские социалисты требовали решительного осуждения Советского Союза. Австралийцы их поддерживали, но в более мягкой форме. Были и другие представители Запада, которые

осуждали советское вмешательство. Бог ты мой, сколько пылких речей и гневных реплик я выслушал! Мы пообедали, а вечером поужинали в том же помещении. Настала ночь, споры разгорались. Наконец, в восемь часов утра мы проголосовали единогласно за резолюцию, которую составил д'Астье; вот абзац, где шла речь о том, что нас разделяло: «Совещание обсудило прискорбные события в Венгрии. Совещание признает, что как во Всемирном Совете, так и в национальных движениях за мир по этому вопросу существуют серьезные разногласия и есть противоположные концепции, что не позволяет сформулировать общую оценку. Несмотря на эти расхождения, совещание единогласно признало, что первой причиной венгерской трагедии были, с одной стороны, холодная война с долгими годами ненависти и недоверия, политики блоков, и с другой стороны, ошибки предшествующих правителей Венгрии и использование этих ошибок зарубежной пропагандой. Совещание единодушно сожалеет о трагическом кровопролитии в октябрьские и ноябрьские дни и выражает венгерскому народу в этих испытаниях свою братскую симпатию...»

Итальянские социалисты не участвовали в голосовании - они приехали, чтобы обосновать свой уход из Движения. Все остальные проголосовали за текст д'Астье - и советские делегаты, и польские, и австралийские, и генерал Карденас, и Марк Жакье, и Китчлу.

Когда я возвращался в гостиницу, было темно. Блистала огнями большая предрождественская елка. Финны шли в банки, в учреждения, в магазины. Я заказал в гостинице кофе. Не хотелось спать, да и трудно было себе представить, как провести день в этом чужом городе. На столике стояла нелепая ваза начала нашего века, в нее милая секретарша Финского комитета мира поставила две хризантемы. Ваза была с трещиной, скатерка оказалась промокшей. Я сидел и думал: что-то изменилось не только в нашем движении, но и в каждом из нас.

Мысли путались - от усталости и от глубокой невыразимой печали. Я понимал, что Венгрия - расплата за прошлое, но она стала преградой к будущему, и в то утро мне казалось, что преграду не сломить.

Мне повезло, я на час задремал: можно было не думать.

Когда я вернулся в Москву, я увидел в «Литературной газете» письмо - ответ советских писателей французским. Текст мне не очень понравился - был пространен и порой недостаточно убедительным. Однако шла война. и рассуждать о том, что мы обороняемся не тем оружием, было глупо. Вместе с Паустовским и другими писателями и присоединился к письму.

Я видел имена французских, итальянских писателей под различными обращениями и, связанными с событиями в Венгрии: Сартр, Клод Руа, А. Шамсон, Симона Бовуар, Моравиа, Пратолини, Витторини, Вайян, Веркор, Ж. Мадоль, Моруа, Ж. Превер, Клод Морган, Кассу, Ломенак, Пьер Эмчанюэль и другие протестовали против действий Советского Союза; среди них были и наши вчерашние союзники и люди умеренных воззрений, еще вчера стоявшие за расширение культурных связей, мои друзья и липа, которых я едва знал. После оттепели, показавшейся не только мне, но и миллионам людей началом весны, наступали заморозки. Я пытался сделать все что мог для того, чтобы помешать возобновлению холодной войны. 1 декабря «Литературная газета» поместила мое «Письмо в редакцию», я кончал его словами: «Мне кажется, нужно уметь отделить наших друзей, которые в том или ином вопросе расходятся с нами, от людей, призывающих к разрыву с Советским Союзом и с коммунистами. Некоторые круги Запада теперь стремятся возродить климат холодной войны и разъединить деятелей культуры, преданных делу мира и прогрессу. Я считаю, что в наших интересах, в интересах мира сделать все, чтобы этому воспрепятствовать».

Еще летом я предложил от имени «Секции друзей французской культуры» писателю Веркору привезти в Москву выставку современной художественной репродукции. Веркор, как я упоминал, подписал один из протестов. Он думал, что мы отложим выставку до лучших времен. Я предложил ему, наоборот, ускорить свой приезд в Москву и открытие выставки. Он согласился. Обмен письмами был опубликован во Франции и у нас.

Жолио-Кюри решил собрать в Париже вице-президентов Всемирного Совета Мира - обсудить, что дальше делать. Французское правительство дало визу Корнейчуку, а меня в Париж не впустили. Видимо, боялись не жесткости, а мягкости.

Зимой тоскливо просыпаться по утрам в маленьком домике, сдавленном сугробами. Дни куцые, кругом никого, только синицы и воробьи прилетают, соблазненные крошками хлеба. Я вылечился от недавнего простодушия: понял, что понадобятся долгие годы, может быть десятилетия, прежде чем мы окончательно растопим огромные льдины холодной войны, прежде чем у нас весна войдет в свои права. Я думал, что вряд ли до этого доживу, но этим нужно жить, за это бороться.

После «Оттепели» я не написал ни одного романа, ни одного рассказа. В 1957 - 1958 годах я отдавал все свое время очеркам о литературе, об искусстве. Сейчас я задумался: почему? Может быть, мне надоело «выдумывать»? Александр Дюма, когда ему стукнуло шестьдесят, перестал писать, он иронически поглядывал на своего сына, который незаметно клал на письменный стол отца чистые листы бумаги, и однажды не выдержал: «Не старайся зря. Больше писать не буду. Хватит!» А я продолжал изводить бумагу. Право же, я мог бы «выдумать» еще один или два романа. Это, пожалуй, легче, чем писать о чужом творчестве. Автор романа или рассказа вправе изменить если не характер, то поведение своих героев. Чехов переделал развязку рассказа «Невеста», а когда я писал о Чехове, я не мог ничего изменить ни в его природе, ни в его творчестве.

Я много работал, написал предисловия к книгам И. Бабеля и Марины Цветаевой, перевел баллады Франсуа Вийона, сонеты дю Белле, старые французские песни, напечатал очерки о некоторых чертах французской культуры (о Стендале, о художниках-импрессионистах, о Пикассо, о Поле Элюаре). В 1957 году и побывал в Японии и Греции, эссе об этих странах вместе с написанными раньше «Индийскими впечатлениями» составили книгу. Потом я занялся чешским художником середины прошлого века Карелом Пуркине и, наконец, сел за книжку о моем любимом писателе А. П. Чехове.

Мы увидели, что Запад не знает ни нашей литературы, ни нашего искусства. В памяти некоторых людей старшего поколения на Западе остались гастроли театров Мейерхольда, Таирова, Вахтангова, «Броненосец «Потемкин», «Двенадцать» Блока. Люди помоложе ничего не помнили, они восхищались Шостаковичем, чттили Маяковского, которого знали скорее по биографии и по фотографиям, нежели по стихам, и с уверенностью говорили, что русские лишены пластического гения они хорошо поют, особенно хором, а за границу посылают огромные холсты, похожие на раскрашенные фотографии. Никто не знал стихов Пастернака, и «Доктора Живаго» приняли как

произведение никому не ведомого гения. Когда показались молоденькие задорные поэты Евтушенко и Вознесенский, их ждал на Западе подлинный триумф. На вечера поэзии Евтушенко пришло больше французов, чем приходили когда-либо на встречи с французскими поэтами (исключая похороны Гюго). Дошло до явных курьезов - в Италии вышла специальная монография о «выдающемся художнике новой России» Илье Глазунове.

Наша молодежь ничего не знала о Мейерхольде, никогда не читала стихов Мандельштама или Марины Цветаевой, не видела холстов прекрасных наших художников - раннего Кончаловского, Лентулова, Ларионова, Шагала, Малевича, Фалька. Холсты живописцев Запада - Мане, Дега, Моне, Сезанна, Матисса, Пикассо - были спрятаны в таинственные «фонды». Кафку критики поносили, это было общеобязательным, но никто, даже критики не знали, что Кафка писал.

Когда в 1957 году в книжный магазин Истры привезли несколько экземпляров рассказов И. Бабеля, они долго лежали на полке: никто не слышал о Бабеле, и его путали с немецким социал-демократом Бебелем. Для молодых людей, вошедших в жизнь после XX съезда, слишком многое было неизвестно. Я перешел к новому для меня жанру не от душевной лени, а от сознания своей ответственности перед читателями.

В начале мая 1957 года я вернулся в Москву из Японии. Ко мне пришел взволнованный В. А. Каверин и сказал, что завтра состоится встреча писателей с руководящими товарищами - намечается крутой поворот к лучшему. Хотя я и сомневался в оптимистическом прогнозе Вениамина Александровича, на встречу пошел. В дверях я столкнулся с Д. Т. Шепиловым, который почему-то сказал мне: «Вам необходимо выступить». Н. Грибачев резко нападал на московских писателей. Выступали многие писатели, отстаивавшие право писателя говорить правдиво или, наоборот, вспоминая «клуб Петефи» и нападавшие на тех, кто показывает «теневые стороны жизни». Я выступил и попытался поспорить с теми, кого потом произвели в «автоматчиков». В итоге Н. С. Хрущев сказал, что он согласен с суждениями «автоматчика» Н. Грибачева.

Неделю спустя нас снова пригласили на встречу, которая должна была состояться на правительственной даче, расположенной довольно

далеко от Москвы. Сначала, все бродили по аллеям вокруг пруда. Навстречу шел тот или иной ответственный товарищ, окруженный братьями писателями. Потом настал час обеда. Народу было много. Все расселись за длинными столами. Разразилась гроза с проливным дождем. Столы стояли под навесом, но приходилось то и дело приподымать брезент - на нем образовался второй пруд. Промокшие музыканты и певицы жалась поближе к сухому месту. Обстановка была шекспировская - гром то и дело громыхал, да и реплики хозяина стола были грозными, их не могли скрасить ни коньяк, ни жареная рыба, изловленная, по заверению меню, в местном пруду. Н. С. Хрущев нападал на К. Симонова, М. С. Шагинян и почему-то особенно на Маргариту Алигер. К. А. Федин покаялся в том, что чего-то не додумал. Л. Соболев горячо поддержал хозяина стола. Я не выдержал и ушел до конца обеда.

В августе в газетах было напечатано «сокращенное изложение» выступления Н. С. Хрущева под заголовком «За тесную связь литературы и искусства с жизнью». В нем мало говорилось о литературе и искусстве, зато автор неизменно возвращался к своей новой оценке Сталина: «Строительство социализма в СССР осуществлялось в обстановке жестокой борьбы с классовыми врагами и их агентурой в партии - с троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами и буржуазными националистами... В этой борьбе Сталин сделал полезное дело. Этого нельзя вычеркивать из истории борьбы рабочего класса, крестьянства и интеллигенции нашей страны за социализм, из истории Советского государства. За это мы ценим и уважаем Сталина. Мы были искренними в своем уважении к И. В. Сталину, когда плакали, стоя у его гроба. Мы искренни и сейчас в оценке его положительной роли в истории нашей партии и Советского государства».

Наладки на писателей были связаны не с критикой литературных произведений, а с изменением политической ситуации.

Московскую организацию писателей Н. С. Хрущев корил за то, что некоторые писатели отнеслись серьезно к тому, что он год назад рассказывал о Сталине. Н. С. Хрущев упоминал о Венгрии, хотя слишком очевидным было различие между страной, которой еще недавно управляли фашисты, и социалистическим государством, родившимся сорок лет назад, где трудно было сыскать человека,

жаждущего восстановления капитализма. Хоти была отстранена «антипартийная группа», слишком связанная со сталинской эпохой, Н. С. Хрущев пытался реабилитировать Сталина.

Наступали заморозки. Люди старались не вспоминать о XX съезде и, конечно, не могли предвидеть XXII. Молодежь пытались припугнуть, и студенты перестали говорить на собраниях о том, что думали,- говорили между собой. Страх, заставлявший людей молчать при Сталине, исчез. Он заменился обычными опасениями, существующими в любом обществе: если много кричать, пошлют на работу подальше от Москвы. Вместо объяснений предшествующего периода молодое поколение получило шотландский душ: Сталина то низвергали в бездну, то прославляли, тем самым мораль подменили карьеризмом,

К сорокалетию Октября была созвана юбилейная сессия Верховного Совета. Собралась она на Центральном стадионе; впереди сидели депутаты, а за ними свыше десяти тысяч приглашенных. Хрущев читал длинное выступление, делал это он редко, обычно, прочитав страничку, засовывал текст в карман и переходил к живой речи. На этот раз он читал, часто ошибаясь, и лицо у него было сердитое. За ним сидел громоздкий Мао Цзэдун с непроницаемым лицом. Хрущев повторил восхваление Сталина: «Как преданный ленинист-марксист и стойкий революционер, Сталин займет должное место в истории. Наша партия и советский народ будут помнить Сталина и воздавать ему должное». Раздались аплодисменты.

Поворот был резким, и я это почувствовал на оценке моих скромных литературных работ. Еще в 1956 году я написал предисловие к избранным стихам Марины Цветаевой. Книга задерживалась, и мое предисловие напечатал альманах «Литературная Москва». Хотя на совещаниях никто о предисловии не упоминал, много говорили об альманахе он приводился как доказательство «ревизионистских настроений» московских писателей.

Статья о моем предисловии была озаглавлена «Про смертяшкиных», и в ней говорилось: «По древней заповеди надлежит о мертвых ничего не говорить или говорить только хорошее». Цветаева умерла в 1941 году. Пятнадцать лет - это слишком большой срок для поминок. И. Г. Эренбург, задержавшись на поминках, продолжает возжигать светильники, кадить ладан, плакать и рвать на

себе волосы... Цветаева повторяет зады Смертяшкина... Нам жаль усилий Эренбурга. Положительно зря возводит он в перл поэтического творения «дорожные грехи празднующейся музыки» (выражение П. Вяземского)». Другая статья заключала такое суждение: «Эренбург дал в альманах предисловие к книге стихов Марины Цветаевой, книге, еще не вышедшей в свет, пытаюсь утвердить за декадентствующей поэтессой, чье имя и поэзия не нашли отклика в сердце народа и давно канули в реку забвения, право на сочувственное внимание массы читателей».

Стихи Цветаевой были изданы пять лет спустя, и «канули и реку забвения» не ее имя и поэзия, а имена и статьи ее хулителей...

Осуждали решительно все, что я писал. О Бабеле, например, я говорил чересчур хвалебно: «Запутанность мировоззрения делала И. Бабеля художником крайне ограниченным». Разругали две странички, написанные для сборника памяти Л. Н. Сейфуллиной. Не обошлось дело и без художников - президент Академии художеств воскликнул: «Писатель Эренбург восхваляет творчество таких формалистов, как Леже и Брак!»

Однако наибольший шум вызвал мой очерк «Уроки Стендаля». Я перечитал теперь несколько статей и откровенно скажу - не понимаю, почему так рассердил блюстителей «основоположных принципов» именно этот очерк. Видимо, он появился в неподходящее время - ведь два года спустя на меня не накинлись за книжку «Перечитывая Чехова», хотя уроки Антона Павловича совпадали с уроками Стендаля да и были куда понятнее молодому русскому читателю. Критики меня упрекали за «маскировку», но на самих критиках были маски: они много рассуждали о романтизме и реализме, об отношениях между Стендалем и Бальзаком, о замалчивании мною трудов российских стэндалеведов, о раскрытии, на их взгляд неуместном, сердечных дел Анри Бейля (хотя Стендаль это делал во многих своих книгах). Вероятно, критиков разозлил Стендаль, написавший на полях рукописи «Люсьена Левена»: «Нужно сделать так, чтобы приверженность к определенной позиции не заслонила в человеке страстности. Через пятьдесят лет человек определенных позиций не сможет больше никого растрогать. Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор».

Прошу читателей простить мне столь длинный рассказ о давних литературных неприятностях. Право же, я сделал это не для того, чтобы пококетничать былыми царапинами. Я хотел показать все бессилие атаковавших и стихи Марины Цветаевой, и прозу Бабеля, и живопись импрессионистов, и художественное мышление Стендаля. Конечно, люди, читавшие тогда «Знамя» или «Октябрь», не могли познакомиться с поэзией Цветаевой или с холстами Сезанна, но критикам не удалось оттолкнуть читателей от меня. Критики «согласовывали» свои оценки с тем или иным товарищем, но согласовать со временем ни своей хулы, ни своих острот они не могли. Время подтвердило одно, перечеркнуло другое.

Может быть, думали нападками сломить меня? Когда-то молодой Тихонов написал стихи о людях, из которых можно было делать гвозди. Из моих сверстников многие погибли, многие, не выдержав испытаний, умерли, но некоторых уцелевших время переплавило; мы действительно стали гвоздями. Мы стали неисправимыми и печальными оптимистами. «Гвозди» оказались склонными к тому, что в литературе называют романтической иронией: они посмеивались и друг над другом, и над различными молотками. Это воистину особое племя. Для меня те годы были хорошим испытанием, я понял: можно писать и нужно писать. Когда я отходил от машинки и спускался по крутой тропинке моего сада к речке, я думал о том, что стало последним заданием моей жизни, о книге воспоминаний.

В апреле 1957 года, как я упоминал, я поехал в Японию; об этом путешествии я написал очерк, в котором главным образом хотел показать общность истоков культуры, путь эллинского Диониса в Индию, Китай, Корею, а оттуда в японскую Нару, влияние японских эстампов на художников Франции второй половины прошлого века и многое другое. В книге воспоминаний я хочу рассказать о забавных мелочах да и отметить, какую роль сыграла поездка в Японию в моей жизни.

В Японию я поехал с Любой, нас пригласил специальный комитет, созданный для «приема Ильи Эренбурга». В комитет входили представители общества дружбы Япония - СССР, переводчики русской литературы и работники японского Комитета мира. Деньги дали большая газета «Асахи» и радио. Все было поставлено на широкую ногу. В Фукуоке молодой человек вынес из комнаты гостиницы наши чемоданы в коридор. Люба удивилась. Тогда, поклонившись, он протянул ей визитную карточку, как то делают все в Японии. Текст был напечатан по-японски и по-русски, и мы узнали, что молодой человек «третий секретарь комитета в Фукуоке по приему советского писателя Ильи Эренбурга». Не знаю, что было сказано на его обычной визитной карточке, но, видимо, он гордился временным титулом.

Токио самый большой город мира, в нем тогда было около десяти миллионов жителей, он и самый беспорядочный - многие улицы не имеют названия, дома часто без номеров, адрес скорее рисуют, чем диктуют. Сами японцы путаются. Мы прожили там две недели, много колесили и в итоге находили все, что искали.

Япония - своеобразная страна - то живешь в Азии, то в Америке, то в Европе. Универмаги, большие заводы, вокзалы, аэродромы напоминают Америку. Увеселительная часть Токио скопирована с парижского Монмартра. Приходя в себя, японец у входа в дом снимает обувь и начинает жить по-японски. Японские дома светлы и пусты, о такой современной архитектуре не смели мечтать Корбюзье или наши конструктивисты двадцатых годов: раздвижные стены, комнаты

путешествуют, вещи в стенных шкафах, на стене одна картина, в нише одна ваза.

Я привык к особенностям японского быта, но мои ноги не могли к ним привыкнуть. В городе Нагоя мы остановились в японской гостинице. Вечером стелили на полу постели. Одеваться было очень трудно, а отдохнуть невозможно. Молодой переводчик Хара пришел к нам в комнату и вскрикнул от ужаса: увидел на циновке туфли Любы. Она его долго успокаивала: вынимая платье из чемодана, она вынула туфли - она в них не пришла с улицы.

Помню ужин в Киото; нас угощал мэр города, социалист, он вел серьезный политический разговор о сближении между нашими странами. Это не помешало ему пригласить гейш, которые дали нам розовые визитные карточки, угощали рисовой водкой, улыбались, а потом танцевали и пели. Ужин происходил в японском ресторане. Мы сняли обувь на улице и прошли в зал в носках. Я вытянул ноги под столом и часа два спустя почувствовал, что они замлели. В беседу о развитии экономических и культурных связей ворвались неподходящие мысли: как я встану, чтобы не уронить престиж Советского государства?

Один японский писатель показал мне низенький игрушечный столик: «Здесь я написал мой роман...» Я изумился: романов я написал вдоволь, но написать шестьсот страниц, сидя на полу, показалось мне чудом.

На собраниях, в клубах, в университетах грязно - циновки нет, японцы сидят обутые и кидают окурки на пол. Зато в любом доме идеальная чистота. Крестьянский дом похож на дом городского богача. Люба, конечно, замечала, что циновки другого качества, но для мужского глаза они кажутся одинаковыми.

Религий и сект много. Если взять статистику, то окажется, что синтоистов и буддистов вместе взятых больше, чем всех японцев: многие крестьяне молятся в синтоистских храмах, а хоронят умершего по буддийскому обряду. Однако я не назвал бы Японию страной религиозной: молятся скорее по привычке, чем от обилия чувств. В Токио я видел, как шла по улице парочка: элегантный японец, сноб, с хорошенькой девушкой. Они оживленно о чем-то разговаривали. Подойдя к синтоистскому храму, оба захлопали в ладоши - так молятся синтоисты, а потом пошли дальше, продолжали

разговор, останавливались у витрин модных магазинов. В Фукуоке вокруг буддистского храма бегали спортсмены, касаясь ладонями камней. Оказалось, что это больные, жаждущие исцеления. Чудо не заменяет для них медицины, но почему бы не попробовать: а вдруг вылечатся?...

Меня удивила откровенность в разговорах. Того флера, к которому я привык в Европе, не было. Нас повели в дом богатого японца; выяснилось, что тридцать лет назад он переделал для театра мой роман «Трест Д. Е.». Одновременно портные принесли дорогие материи, чтобы Люба выбрала ту, что ей нравится для кимоно. Люба отказывалась - ей не нужно кимоно, но пришедшие с нами японцы объяснили: хозяин хорошо заработал на инсценировке «Треста Д. Е.», следовательно, материя должна быть самой дорогой. В другой раз Хара - молодой, уговаривая нас выпить чай с тостами, добавил: «Это очень дешево, не стесняйтесь». Жены писателей рассказывали Любе, как изменяют им мужья. В эссе «Похвала тени» знаменитого писателя Танидзаки я нашел рассуждения, что нет ничего прекраснее, чем писсуары из криптомерии и по тону, и по аромату дерева, и по его акустическим возможностям.

Условностей много. Встречаясь, японцы низко кланяются и стараются как можно медленнее выпрямиться. (Один советский работник, только что приехавший в Японию, высказал свое удивление. Посол решил пошутить: «Почти все японцы страдают ревматизмом - климат такой...» Новичок перепугался - сказал, что у него предрасположение к ревматизму.) Встречаясь, также усиленно нюхают друг друга: вдыхают аромат. Секретарь японского Комитета мира, пять лет спустя, когда у нас возникли политические трудности, будучи благовоспитанным, всякий раз тщательно меня обнюхивал.

В первую неделю моего пребывания в Токио я дивился: мы сидели в ресторане с японцами и ели, а позади другие, не прикасаясь к еде, что-то записывали. Потом один из переводчиков показал мне большую газетную статью, в которой довольно фантастически излагалось все, что я говорил за обедом. Я рассказал об этом пригласившим меня японцам, они удивились моему удивлению: «За обед заплатила редакция и, естественно, что она не хочет зря бросать деньги». После этого я стал за едой помалкивать.

Я все же не хочу, чтобы читатель подумал, будто мои впечатления от Японии сводились к тяготам сидения на татами, церемонии приветствий или множеству других церемоний, хотя бы чайной. Страна меня поразила своей глубокой тревогой. Напомню редкие способности ее народа. За два года, когда кончилась изоляция Японии (1871- 1872), была построена первая железная дорога, начала выходить первая ежедневная газета, было введено всеобщее начальное обучение, открылся первый университет. Началась индустриализация страны, огромные заводы изготавливали современное оружие, текстильные фабрики, благодаря дешевизне труда, заполнили все континенты своими товарами. Выиграв войну против царской России, правящая верхушка начала готовиться к завоеванию Китая и Сибири. Самураи, в рассказах, совершали подвиги или вспарывали себе живот. Легенды о шпионах и полицейских изготавливались на конвейере. Тем временем родилась интеллигенция, росло сознание пролетариата. В годы второй мировой войны Японии завоевала почти всю Азию, и тут наступил крах: конец Третьего Рейха, атомные бомбардировки, капитуляция, Америка сделала все, чтобы поработить Японию, это оказалось очень легким и невозможным.

Японии - это горы, вулканы, узкая прибрежная полоса; только одна шестая территории обрабатывается. Я был в университете Васэда, там учатся двадцать шесть тысяч студентов; а всего в Японии пять миллионов студентов на девяносто миллионов жителей. Естественно, что официанты, бухгалтеры, приказчики оказываются людьми с высшим образованием.

Я вспоминаю судьбу писательницы Хаяси Фумико, которая умерла в 1951 году в возрасте сорока восьми лет. Русский перевод шести ее рассказов вышел в 1960 году. Я написал предисловие. Мне понравилось в этих новеллах что-то незнакомое и, вместо с тем, человечное; не знаю, как это определить, пожалуй, вернее всего уничтожающими словами наших присяжных искусствоведов - «смесь барокко с натурализмом». В жизни ей пришлось работать на фабрике, быть официанткой, приказчицей, прислугой, она хорошо знала грубую плоть жизни и ко всему была поэтом.

Женщинам в Японии тяжело: они живут еще в прошлом быту и, вместе с тем, знают, понимают многое не хуже мужчин: из любви к традициям их продолжают угнетать, как карликовые растения,

культурой которых японцы гордятся. Однако появились студентки, глаза их выражают ту же тревогу, что и глаза юношей.

Читают молодые очень много, стоят в книжных лавках и читают книгу, не покупая ее. Тиражи все же большие. Нет ни одного советского или западноевропейского прозаика, хоть сколько-нибудь известного, чьи книги не были бы тотчас переведены. На выставках Пикассо, Матисса, Шагала побывали миллионы японцев. Сотни различных театров от древнейшего Но, где актеры в масках, а позади хор комментирует происходящее, до ультрасовременного «театра абсурда». Сто восемьдесят шесть газет выходят общим тиражом в тридцать пять миллионов. На шесть душ один радиоприемник.

Искусство Японии выдает беспокойство. Японские фильмы имели успех в странах Европы, но зрители добавляли: «Какие они жестокие!» То же самое говорят о переводах японских романов. Что поражает в них? Та пугающая европейцев искренность, о которой я шутливо рассказывал, становится совсем не шутливой в показе войны, голода или одиночества.

Мне понравился поэт и романист Таками. Он был красив, печален и говорил коротко, то со взлетом над миром, то неожиданно грубо. Потом он побывал в Москве, а в 1963 году заболел раком. Его оперировали. Он успел написать короткие стихи о встрече со смертью и вскоре умер.

Прежде европейцы, попадая в Японию, интересовались гейшами и цветущей вишней: Японию они знали по роману Лоти «Госпожа Хризантема» и опере Пуччини «Госпожа Баттерфляй». Теперь перед туристами маячат атомные «грибы». В Хиросиму я не попал, но был в Нагасаки. Трудно было представить себе, что этот город всего двенадцать лет назад уничтожила атомная бомба: он выглядел оживленным, даже цветущим. На месте, где разорвалась атомная бомба, колонна; неподалеку памятник жертвам.

В музее фотография профессора Токаси Нагаи: он лежит и смотрит в микроскоп - на себе изучает последствия радиации. Он написал книгу «Мы из Нагасаки» и умер. Девяносто процентов жертв бомбардировки умерли сразу или в первые недели, но десять процентов умирали медленно. В 1957 году, когда я был в Японии, я видел людей с обожженными лицами, японцы продолжали заболеть лучевой болезнью, женщины рожали уродцев. В Нагасаки я еще

сильнее понял, что совесть не успокоится, пока продолжает изготавливаться и накапливаться ядерное оружие.

Я вдруг ощутил связь между Нагасаки и всеми бесчисленными конгрессами, конференциями, сессиями, заседаниями, на которых мы говорили о борьбе против ядерного оружия. Мы говорили вчуже, а японцы уже испытали это оружие на себе: первую черновую репетицию уничтожения жизни. Над нами посмеивались - одни злобно («закамуфлированные коммунисты»), другие добродушно («наивные простачки»). В Японии я понял, что не оставлю этой борьбы, пока смогу двигаться и говорить. Может быть, истории мельком упомянет о попытках сторонников мира предотвратить катастрофу, может быть, она признает, что мы сыграли некоторую роль в отказе от ядерного оружия, а может быть, и не будет уж никакой истории. Можно бросить все - и литературу, и политику, но не это - не борьбу за право ребенка на жизнь.

В августе 1957 года газета «Ле Монд» поместила заметку своею специалиста по русским делам, подписанную А. П.- Андре Пьер, который, ссылаясь на израильского журналиста Вернара Турьера, обвинял меня в гибели группы еврейских писателей. Бернар Турнер утверждал, что он был арестован в Москве в 1943 году и отправлен в концлагерь возле Братска. Там в 1949 году он встретил нескольких еврейских писателей, среди них Бергельсона и Фефера, которые ему завещали, если он встретит меня, сказать, чтобы я возложил цветы на могилу загубленного мною Неизвестного мученика.

Друзья прислали мне номер французской газеты. Я отправил короткое письмо в редакцию, написал, что среди погибших еврейских писателей были мои друзья и что вкладывать измышления в уста людей, которых больше нет, прием далеко не новый. Редакция поместила мое письмо под заголовком «Антисемитизм г. Эренбурга».

Статью Турнера перепечатали разные газеты Запада, а в 1959 году в Париже вышла книга Леона Ленеманна, который рекомендует себя корреспондентом израильских, американских и южноафриканских газет. Одна глава посвящена мне. Автор не довольствуется измышлениями Турнера, он приводит также рассказ американского журналиста доктора Шошкеса: «Был еще один свидетель обвинения. Вдовы и сироты убитых писателей знают его имя: это Илья Эренбург. Он приезжал на заседание трибунала в своем автомобиле. После того, как он отягчал судьбу подсудимых своими показаниями, он спокойно возвращался к себе, в свою квартиру на одной из самых центральных улиц Москвы - улице Горького».

Я не знаком ни с Турнером, ни с Ленеманном, ни с доктором Шошкесом. Не только семьи погибших еврейских писателей, но и все советские люди, имевшие близких среди жертв Ежова и Берии, знают, что тех, кого намеревались расстрелять, не отправляли ни в какие лагеря. Военный трибунал в Москве в 1952 году приговорил к расстрелу еврейских писателей, в том числе Д. Бергельсона и И. Фефера. О процессе и судьбе писателей я узнал только после их посмертной реабилитации. Никогда меня не привлекали к следствию

и, разумеется, не вызывали ни на какой суд. Единственное правильное в сообщении доктора Шошкеса, что я жил и живу на улице Горького.

Есть старая русская пословица: «Господь любит праведника, а господин ябедника». Я встречал в жизни праведников. Не знаю, как к ним относится Господь Бог, но честные люди их почитали. Зато я хорошо знаю, как различные господа жаловали ябедников и расплачивались с ними не на далеком небе, а здесь, на земле. В Нью-Йорке, Тель-Авиве, в Париже, как во всех городах мира, живут люди честные и бесчестные. Каждый теперь сможет судить о порядочности моих обвинителей.

В шестой части этой книги я рассказал о нападках на «космополитов», которые почти всегда обладали еврейскими фамилиями, а «Крокодилом» изображались с положенными им носами. После 1953 года антисемитизм перешел из высокой политики в закоулки быта, он, однако, не исчез. Я расскажу далеко не все, что знаю, приведу только несколько примеров, чтобы не показаться голословным.

В Дагестане живут горские евреи. По наружности они не походят на евреев Европы, многие проживают в аулах, занимаются виноградарством и скотоводством. Осенью 1960 года ко мне неожиданно пришли четверо горских евреев и возмущенно рассказали, что в газете Буйнакского района появилась статья, критиковавшая разные религии. Обличая иудаизм, автор статьи утверждал, что набожные евреи подмешивают к питьевой воде немного мусульманской крови. Правда, два дня спустя в газете появилось опровержение, а месяц спустя редактора сняли за допущенную им «политическую ошибку»; но приехавшие в Москву делегаты горских евреев требовали, чтобы в газете была опубликована статья, опровергающая древнюю клевету - ритуальное употребление евреями крови инаковерующих. Я пробовал их успокоить, пытался (безуспешно) им помочь. Они прожили в Москве месяц, ходили всюду, куда могли; характер у них был пылкий и твердый. Ничего не добившись, они уехали. Тем временем выяснилось, что буйнакскую газету получали в одной из соседних стран, и злополучная статья была напечатана в некоторых газетах Запада.

Осенью 1959 года два хулигана подожгли синагогу в московском пригороде Малаховка. Об этом вскоре стало известно за границей.

Поджигатели оставили на месте преступления и расклеили на Казанском вокзале листовку, подписанную инициалами БЖСР - боевым кличем, казалось мне, забытым, белогвардейцев «Бей жидов, спасай Россию!». При поджоге от дыма задохлась сторожиха. Нашли виновников по одной рассеченной букве в канцелярской машинке. Преступники оказались двумя комсомольцами. Ко мне пришел следователь, спрашивал, какое впечатление произведет на Западе открытый процесс. Я ответил: «Прекрасное». Однако решили иначе: суд был закрытым, поджигателям дали по шесть лет исправительных лагерей. Комитет по делам религий сообщил о приговоре некоторым иностранцам, но советские люди, даже обитатели Малаховки, ничего о суде не узнали.

В 1961 году в «Литературной газете» было напечатано стихотворение Е. Евтушенко «Бабий яр». «Литература и жизнь» напечатала сразу стихи Маркова, утверждавшего, что Евтушенко носит узкие брюки и что он - не русский, и длинную статью Д. Старикова. Желая доказать читателям, что нельзя говорить о национальности жертв фашизма. Стариков приводил мои стихи о Бабьем яре, написанные во время войны, и обрывал цитату до слов: «Моя несметная родня». Я знаю, что во время оккупации фашисты в Бабьем яру убивали участников сопротивления - русских, украинцев, но в народной памяти запечатлелись сентябрьские дни 1941 года, когда гитлеровцы убили в Бабьем яру всех евреев, не сумевших выбраться из Киева,- стариков, больных, женщин, детей. По данным, оглашенным на Нюрнбергском процессе, в течение двух дней гитлеровцы убили там около сорока тысяч советских граждан еврейской национальности.

Я напечатал тогда в «Литературной газете» письмо: протестовал против использования моего имени Стариковым для утверждения мыслей, противоположных моим.

Люди, нападавшие тогда на стихотворение Евтушенко, говорили, что нельзя говорить о зверском истреблении фашистами евреев, потому что фашисты убивали, вешали, расстреливали гражданских лиц других национальностей- русских, украинцев, белорусов. Я достаточно писал в годы войны о зверствах гитлеровцев, не буду повторяться. Укажу только, что русских или украинцев фашисты убивали, подозревая их в скрытом сопротивлении, в связи с

партизанами, в укрытии евреев или коммунистов, в нарушении своих приказов; требовался донос бургомистра, старосты или соседа, подозрительность любого эсэсовца. Евреев гитлеровцы убивали только за то, что они были евреями, убивали всех поголовно, стариков и новорожденных. В Праге нацисты предполагали устроить «Музей исчезнувшего народа». Именно это определило понятие «геноцида», значащееся в приговоре Нюрнбергского трибунала.

Стихи Евтушенко сделали доброе дело: право евреев Киева на каменную плиту четверть века спустя после злодеяния было признано.

В декабре 1962 года на встрече правительства с писателями и художниками Н. С. Хрущев обвинил Евтушенко в выделении национальности убитых гитлеровцами жителей Киева и добавил, что в том же повинен также Эренбург. Евтушенко - молодой русский, я - старый еврей. Н. С. Хрущев заподозрил меня в национализме. Каждый читатель может сам рассудить, правда ли это.

Я зашел далеко вперед. После выступления Хрущева некоторые антисемиты почувствовали себя окрыленными. Украинская Академия наук выпустила книгу «Иудаизм без прикрас». Книга относилась к антирелигиозным и на украинском языке рассказывала читателям о противоречиях и корыстности иудаизма. Эта книга была воспроизведена за границей. Я находился в Стокгольме, когда миролюбивый швед, незадолго до этого побывавший в Москве и приезжавший ко мне на дачу, принес книгу и попросил объяснить, что все это значит. Давно не было на свете ни Сталина, ни Берии, нельзя было отнести книжонку к ошибкам прошлого. Я долго разглядывал рисунки. Они напоминали журнал гитлеровца Штрейхера, положившего свою жизнь на изобличение евреев. Господь бог, согласно Писанию, сорок лет водил евреев по пустыне. Автор иллюстраций показывал, что он водил их на поводке, водил за носы и носы евреев естественно удлинились. Поведение носатых евреев показано в книге своеобразно: они поклонялись сапогу гитлеровцев, и носатый Бен-Гурион договаривался в Освенциме с эсэсовцами в то время, как там страдал человек с явно не еврейским носом. Мне пришлось отменить пресс-конференцию в Стокгольме. Месяца два спустя книжка была дезавуирована, и поехавший во Францию А. И. Аджубей сообщил, что она изъята из продажи.

Другое, еще более расистское произведение - «Дорогами жизни» - было напечатано в журнале «Дншро». Там описываются козни рода Ляндеров против украинского народа. Родоначальник Исаак Ляндер нашел «гешефт» - получил у поляков в аренду несколько православных церквей, этот «нехристь» обирал украинцев. Внук Исаака Хаим Ляндер учел перемену обстановки: «Зачем раздражать гоев, если можно потихоньку спаивать их и обирать до последней нитки?» Гайдамаки сожгли корчму. «С той поры в семье Ляндеров украинцев не называли иначе, как «эти проклятые хохлы». Наш современник Соломон Ляндер становится сначала бундовцем, а потом большевиком и работником ГПУ.

Третье произведение - «Тля» - было написано по-русски и называлось романом-памфлетом. Роман был направлен против двух врагов - художников «модернистов» и евреев. Все персонажи имеют явных прототипов: это так называемый роман с ключом. Положительный герой Михаил Герасимов, он же А. М. Герасимов, рассуждает: «Пастернак? Трава такая, вроде петрушки» или «Говорят, формалистскую мазню Фалька и Штеренборга из подвалов вытащили». Художник Борис Наумович рассказывает: «Вот последняя хохма». Когда одна русская спрашивает, что значит «хохма», Борис Наумович удивляется: «самое что ни есть русское слово». В романе действует крупный интриган с темным прошлым «Лев Барселонский». Он повторяет цитаты из статей Эренбурга, во время войны он делал агитплакаты против гитлеровцев, после войны приступил к иллюстрациям Стендаля, а теперь мечтает занять место Михаила Герасимова. К счастью, правительство отправляется в Манеж на выставку, где красуется формалистическая мазня евреев, и расчеты Льва Барселонского рушатся.

После октября 1964 года я не встречал в печати никаких антисемитских вылазок. Но не было и статей, направленных против антисемитизма. Предшествующая эпоха оставила в наследство немало тяжелого. В моей жизни этот вопрос продолжает играть не только скверную, но, я бы сказал, малопристойную роль. Для одних я некто вроде Льва Барселонского, чуждый элемент, существо если и не обладающее длинным носом, то все же занятое темными «гешефтами». Для других я - человек, потопивший Маркиша,

Бергельсона, Зускина. Как это слишком часто бывает, торжествуют не праведники, а ябедники.

Однако куда больше, чем моя биография, меня тяготит вопрос о положении евреев в нашей стране. В последние годы Сталина в Москве рассказывали анекдот: еврей заполняет анкету для поступления на службу и, дойдя до пункта пятого, где нужно проставить национальность, вздохнув, пишет «да». Это отнюдь не смешная история. Память о гитлеровском геноциде, преследования евреев в 1948-1952 годах, неприязнь тех или иных соседей - все это вызвало среди советских евреев настороженность, повышенный интерес к своей национальности. А об этой национальности помнят лица, выдающие паспорта, но не лица, ограждающие национальную культуру. В советском обществе евреи сыграли видную роль. Напомню хотя бы о русской советской литературе и назову только имена писателей, которых больше нет в живых: Бабель, Пастернак, Багрицкий, Мандельштам, Тынянов, Светлов, Маршак, В. Гроссман, Ильф. Нельзя, однако, стоять за освоение евреями русской культуры и одновременно не бороться против антисемитизма.

Конечно, я убежден, как и шестьдесят лет назад, не только в гнусности, но и в обреченности любого расизма. Однако сейчас это звучит почти как абстрактная истина, и я чуть ли не каждый день получаю письма от евреев, ущемленных и обиженных. В таких жалобах, разумеется, немало преувеличений, но если задуматься над происходившим и даже над происходящим, они естественны.

Недавно я был в Праге и видел там в Государственном еврейском музее зал, где на камнях, покрывающих стены, мелкими буквами выдолблены имена трехсот тысяч евреев Чехословакии, убитых гитлеровцами. Рядом древнее еврейское кладбище; плиты на могилах астрономов или праведников, стоявшие века, кажутся восставшим в гневе народом. Я ушел оттуда и долго думал: когда же поймут все народы, все люди душевный мир евреев, уцелевших от нацистского геноцида? Обязательно поймут, но не завтра и не послезавтра.

В июне 1957 года по приглашению посла в Афинах М. Г. Сергеева я направился в Грецию вместе с С. В. Образцовым, Б. Н. Полевым, эллинистом А. А. Белецким и архитектором М. В. Посохиным. Групповые поездки не всегда бывают легкими, но мои попутчики оказались хорошими товарищами, все мы понимали нашу задачу: постараться наладить добрые отношения с греческой интеллигенцией. Образцов беседовал с режиссерами и актерами, Полевой с журналистами, Белецкий с учеными, Посохин с архитекторами, а я с писателями. Разумеется, мы встречались и с людьми других профессий, в частности, и познакомился с политическими деятелями различных партий, побывал на собраниях двух организаций, выступавших за мир, но враждовавших между собой: для одних ЭДА, для других либералы были пугалом, куда более страшным, чем все водородные бомбы мира.

Многое из древнего искусства показалось мне новым, хотя я увидел Грецию в третий раз, я, например, прежде не бывал ни в Микенах, ни на Крите. Очерк об уроках эллинской культуры я дал в один из толстых журналов, но редактор, напуганный шумом вокруг моих «Уроков Стендаля», усмотрел в страницах, посвященных искусству Византии, некий скрытый подтекст. Я включил эссе о Греции в книгу очерков и не стану сейчас повторяться. Да и время не очень способствует размышлениям о причинах гибели минойской цивилизации - я пишу эту главу в дни, когда мир взволнован военным переворотом в Афинах, который чем-то напоминает мне переворот, осуществленный испанской военщиной в 1936 году. Судя по французским газетам, многие греческие писатели, с которыми я познакомился, а с некоторыми и подружился десять лет назад, арестованы. Мысли невольно возвращаются к трагической судьбе современной Греции.

Помню, как два замечательных человека Ив Фарж и Поль Элюар - рассказывали мне о мужестве греческих партизан. Когда они были в Греции, исход гражданской войны был уже предрешен и защитники горы Граммос сражались, зная, что их ждет верная смерть. Осенью

1949 года золото и булат взяли верх. Одних партизан расстреляли, других отправили на острова смерти - Макронисос, Агиос, Евстратиос. В 1957 году я увидел первых вернувшихся с острова, их не реабилитировали, даже не амнистировали, они числились в отпуску, не имели права менять резиденцию и должны были регулярно представляться в полицейские участки. Среди них были поэты, художники. Я долго смотрел рисунки, сделанные на клочках оберточной бумаги: люди в концлагере; слушал стихи на непонятном языке, мне казалось, что они посвящены безнадежной любви, но мне переводили - это были стихи о хлебе, верности, о плотке воды, о потерянной свободе.

Когда мы осматривали Акрополь, один из молодых писателей познакомил меня с Манолисом Глезосом. Что о нем рассказать? Все знают, что в 1941 году двадцатилетний Манолис взобрался на Акрополь, где красовался флаг Третьего рейха, сорвал его и поднял национальный флаг Греции. Гитлер приказал поймать наглеца и казнить его, но Глезоса не поймали - он участвовал в Соппротивлении и умел прятаться, его приговорили к казни заочно. После изгнания из Греции гитлеровцев новые власти, поддерживаемые новыми оккупантами, арестовали Глезоса и приговорили его к казни, но, натолкнувшись на протесты Западной Европы, заменили казнь тюрьмой. В 1951 году афиняне избрали Глезоса депутатом, выборы были признаны недействительными. Теперь он снова арестован, и жизнь его снова в опасности. Я разговаривал возле колонн Парфенона, как бы твердивших о мудрости, красоте, гармонии, с милым, застенчивым человеком, судьба которого была продиктована Акрополем и оказалась несовместимой с ним. Говорил он мне, конечно, не о древнем зодчестве, а о том, как ему удалось сорвать флаг со свастики.

С писателем, книги которого я знал и любил, с Никосом Казандзакисом мне не суждено было встретиться. Его жена мне написала, что он хотел познакомиться со мной, но когда он был в Москве, я был в Греции. Он умер год спустя. Его книги известны далеко за рубежами Греции, особенно роман «Христа распинают вновь». Это судьба бедных крестьян в деревне Анатолии, и это судьба Греции: Христа распинают века, тысячелетия.

Казандзакис умер в возрасте семидесяти четырех лет. Поэту Костасу Варналису теперь восемьдесят три года. Мы с ним подружились свыше тридцати лет назад, когда плыли на советском теплоходе из Одессы в Пирей,- Варналис приезжал на Первый съезд советских писателей. О многих греческих друзьях я промолчу; не хочу способствовать работе ищеек военной хунты, которые хвастают своим весьма сомнительным гуманизмом - на первый завтрак они арестовали всего-навсего шесть с половиной тысяч «коммунистов», которых намерены содержать на безлюдных островах. Но о Варпалисе все всем известно: он - поэт, получил Ленинскую премию мира. Мы с ним пили вино в таверне Пирея. Он почти оплох, но, как пушкинский пророк, услышит, как растет трава и как бьется далекое сердце.

Незадолго до отъезда мы поехали с греческими писателями в Дельфы. В Древней Греции Дельфы были храмом бога солнца и искусств - Аполлона. Во время празднеств в Дельфах приостанавливались все военные действия. Здесь, у подножья горы Парнас, рядом с прославленным родником вдохновения, мы дали друг Другу клятвы блюсти мир и дружбу. Среди писателей, старых и молодых, был высокий плотный Стратис Миривилис. Он побывал в Москве, он - академик, это не ветреный юноша - ему семьдесят пять лет. Он много провоевал, знает, что даже первая мировая война, которая после Хиросимы нам кажется «войной в кружевах», была страшной, он много прожил, знает человеческую беду, он говорил мне: «Не нужно повышать голос ни в искусстве, ни в жизни. Мы не знаем, о чем пророчествовали пифии, но эти барельефы требуют сдержанности, самоограничения. Наши правители (он чуть усмехнулся), да и не только наши, скромностью не отличаются, но многое зависит от людей, которые не вправе управлять даже своим домиком...»

Я подружился с прекрасным поэтом Яннисом Рицосом. Он принадлежит к более молодому поколению - ему теперь пятьдесят восемь лет; пять из них у него украли - с 1948-го по 1953-й он промучился на острове смерти. Год назад он прислал мне книгу - сделанный им на греческий перевод моего сборника стихотворений «Дерево». Когда и был в Афинах, начиналась кипрская трагедия, и он читал мне отрывки из поэмы о кипрском шофере, который двое суток,

сидя в пещере, отбивался от батальона английских солдат; там были строки:

С кем поговорить? Может быть, с этой улиткой?

Она ползет по камню. На ее спине часовни.

Ей рассказать? Но она не услышит,

У нее своя часовня, она молчит.

Мне двадцать девять лет, и мне хочется жить...

Я вспоминаю мою встречу с одним из руководителей Сопротивления киприотов, с архиепископом Макариосом, который незадолго до того был освобожден англичанами - они его сослали на далекий остров (острова, видимо, есть у всех). Я думал, что попаду в монастырь, но архиепископ принял меня в небольшом доме, курил, говорил вполне по-светски. Его позвали к телефону, и, вернувшись, Макариос сообщил мне о новом смертном приговоре, вынесенном на Кипре англичанами, он тихо добавил: «Этих насильников ничего больше не может устыдить...»

Все знают, что Байрон хотел сражаться вместе с восставшими греками и умер в Месолонгиосе. Он был английским поэтом, а правителей Англии не тревожила кровь греков. Свыше ста лет Греция была негласной колонией Великобритании. Англичане выдали грекам короля баварского принца, а когда баварская династия окончательно скомпрометировала себя, ее заменили датской, к которой подмешали германскую: мать молодого короля Фредерика - внучка императора Вильгельма II. В Дании короли ведут себя тихо, но, оказавшись в Греции, датчане видоизменились, начали активно вмешиваться в политическую жизнь, заключили союз с армией и явно путают, какой век стоит на дворе. На улице Ирода Итакского, вдоволь пышной и уродливой, помещается король Греции и посол Соединенных Штатов. Вряд ли переворот застал их врасплох.

Смена попечителей произошла в 1947 году; решение американского президента могло быть названо «манифестом» или «энциклопедией», но у американцев склонность к университетскому языку, и Трумэн окрестил свои притязания «доктриной». Англичане скромно отошли на второй план, конечно, не потому, что вспомнили стихи Байрона, а потому, что страна вековых колонизаторов превратилась в полуколониальную базу Америки.

Упомяну о моем знакомстве с лидером либеральной партии Георгиосом Папандреу, который семь лет спустя стал премьером, был смещен королем, а теперь находится в госпитале под арестом. Его сына, депутата Андреоса Папандреу, военная хунта грозит отдать под суд «за измену родине». Папандреу-отец принял меня у себя дома, угостил на террасе чашечкой кофе, а потом предложил погулять по садику. Цветы южные - небрежные и сладкие розы. Папандреу говорил мне, что он не любит ни коммунистов, ни левую партию ЭДЛ, но он рад встретиться со мной: Греция хочет жить в мире и торговать с Советским Союзом. Говорили мы мирно о том о сем, о том, что в Греции превосходные маслины, что правый премьер Караманлис бессмысленно обозляет студентов, что либералы должны получить на выборах абсолютное большинство, чтобы составить правительство без помощи левых и правых. В конце беседы Папандреу пояснил мне, что не хотел разговаривать со мной в доме, так как не убежден, что ретивые полицейские не понаставили у него магнитофонов. Я поблагодарил хозяина за любезный прием.

Вполне возможно, что военная хунта причислит не только сына, но и отца Папандреу к «прокоммунистам». Испанские генералы называли либерала Асанью, каталонских автономистов, баскских католиков «красными» - таковы традиции военных переворотов.

Коммунистическая партия Греции была запрещена. До 1956 года она грешила сектантством. Художник «отпускник», пробывший много лет на каторжном острове, рассказывал мне, что один догматик грозил послушнику, читавшему греческий перевод «Оттепели», лишением пайка воды. Это похоже на скверный анекдот. Когда я был в Греции, молодые коммунисты радостно говорили о происшедших переменах. (Много позднее я прочитал о VIII съезде Коммунистической партии Греции, осудившем политику генерального секретаря, мешавшего объединению левых сил страны.)

ЭДА была подлинным объединением различных левых групп и партий. Я увидел многих ее депутатов: один был крупным буржуа и пользовался влиянием в деловых кругах, другой социалистом, третий радикалом во французском значении этого слова, четвертый коммунистом, пятый аристократом из бывших монархистов. Казалось, они не могут ужиться друг с другом, но в Греции все возможно: уживались.

Я не случайно упомянул Испанию, говоря о последнем перевороте в Афинах, много раз передо мной вставала Старая Кастилия или Арагон. Дело не только в пейзаже: зеленую античную Грецию давно уничтожили завоеватели от древних римлян до гитлеровцев: леса не способствуют поддержанию порядка. Рыжие скалы, каменные домишки, прилепившиеся к склону горы, неистовое солнце, все это роднит Грецию с Испанией. Но есть и сходство народных характеров. В обеих странах буржуазия поражала меня своим невежеством, любовью к уродливой мишуре, политической дикостью, но нищие греческие крестьяне, как арагонские или кастильские, дорожат совестью куда больше, чем деньгами.

В представлении многих, грек - торговец подобно еврею или армянину. Трудно сказать, на чем основаны ошибочные представления, может быть, на баснословном богатстве одинокого Базиля Захарова, одного из королей нефти, а может быть, на оборванце, старающемся всучить английскому лорду обломок танагры, на династии банкиров Ротшильдов или на злосчастных лавочниках в гетто Нью-Йорка, торгующих селедками и солеными огурцами, на реальном, а может быть, мнимом богатстве десятка армян в Париже, в Каире, в Америке или на пословице об армянском хитроумии. Все это чепуха, попытка объяснить свои неудачи чужими подвохами, жажда сорвать душу на ком-то постороннем. Презрение бедных греческих крестьян к деньгам велико: накормят, чем есть, напоят и ласково отвернутся от денег.

Однажды вечером мы решили пойти без греческих друзей (А. Л. Белецкий знал прекрасно не только древнегреческий, но и современный языки) в один из бедных кварталов Афин, посидеть на улице при таверне, поглядеть на будничные вечер народа. Нищета там ужасающая это один из верхних пригородов, построенных после проигранной войны с Турцией, когда по мирному договору Греции пришлось принять полтора миллиона греков, выселенных из Малой Азии. Здесь не увидишь ни роскошных псевдоклассических дворцов улицы Ирода Аттического или улицы королевы Софии, ни небоскребов, ни домов центра города, лишенных стиля и лица, ни блистающих витринами магазинов, нет, здесь то ли лачуги, то ли бараки, множество детишек на улицах, запах оливкового масла смешивается с вонью нечистот. Мы сели за столик, расположенный на

пустой мостовой, и попросили хозяина таверны дать нам бутылку рицины (так называется вино с примесью смолы, чтобы оно не скисло, это напиток всей Греции, кроме Крита, где вино свободно от смоляного привкуса). Хозяин долго рассматривал меня, потом принес бутылку и позвал соседа, который тоже на меня уставился; пошептавшись с соседом, хозяин наконец-то спросил Андрея Александровича Белецкого, правда ли, что с ним пришел советский писатель Илья Эренбург. Четверть часа спустя наш столик был заставлен помидорами, огурцами, колбасами, бутылками вина все это принесли жители улицы. Матери представляли нам малышкой. В доме, где, казалось, и мебели нет, нашлись книги, и меня просили подписаться на зачитанных экземплярах «Оттепели». Все это было невыразимо трогательно, с той лаской, с тем благородством, которых не увидишь в центре Афин. Настала полночь, мы хотели заплатить хозяину за вино, он сердито замахал руками. Как нам добраться в гостиницу? Мы ведь ехали сюда чуть ли не час - далеко. Откуда-то вызвали такси, и когда, приехав в гостиницу, мы хотели заплатить шоферу, тот ответил: «Все уплачено наверху вашими друзьями». Этот вечер описал Борис Полевой, но я не мог не вспомнить о нем, рассказывая про Грецию.

Недавно ко мне пришла студентка, которая хочет посвятить себя изучению Стендаля. Мы оба говорили о том, что автора «Красного и черного» увлекали политические бури века. Несколько неожиданно студентка мне сказала: «А я, знаете, охладела к политике...» Потом она начала рассказывать, что неважно - где капитализм, важно - какие люди - хорошие или дурные, а политика ей просто опостылела.

Разве могут разделить чувства этой студентки жители Вьетнама, будь то любитель Стендаля или даже наимудрейший буддист? Разве скажет испанский художник или греческий поэт, что ему теперь не до политики? Люди, которые говорят о красоте, о гармонии, которые пристойно вздыхают на панихидах, отнюдь не забывают о политике, конечно, о своей: они швыряют бомбы на вьетнамские города, расстреливают студентов в Сан-Себастьяно и сажают в тюрьму поэта Янниса Рицоса. Таковы уроки Греции: сколько бы у меня ни было сомнений и раздвоенности, я твердо знаю, что совесть не терпит, когда снова и снова попирают справедливость, человеческое достоинство, свободу.

15 января 1958 года скончался Е. Л. Шварц.

В Ленинграде издан сборник «Мы знали Евгения Шварца» - это воспоминания писателей, главным образом ленинградцев, которые в течение долгих лет встречались с Евгением Львовичем и действительно знали его. Мне обидно, что познакомился я с ним поздно, виделся редко, помню, как я пытался спасти в 1944 году «Дракона», помню его у меня о Москве (ему нравилось жаркое из баранины на французский лад, нашпигованное чесноком), встречались мы и в Ленинграде у О. Ф. Берггольц, у Г. М. Козинцева, приходил он ко мне в гостиницу, но всего этого было мало, чтобы его узнать, и если я пишу о нем, то не потому, что я подметил какие-то не открывшиеся другим черты, а только потому, что полюбил его. (Я хорошо знал некоторых писателей, часто встречался с ними, порой они вмешивались в мою жизнь, но порога этой книги не перешли.)

Почти всегда люди, которым удавалось смешить миллионы людей, сами были мрачными. Можно припомнить описания Н. В. Гоголя современниками, можно - и это куда ближе - задуматься над природой М. М. Зощенко. Оба в определенное время пренебрежительно отзывались о своих прекрасных произведениях и безуспешно, старались написать книги высокой морали. Е. Л. Шварц не походил на них, хотя и умел рожать улыбку, он был человеком жизнерадостным, общительным, любил выступать, дурачиться, ходить в гости, много ел, много пил и запомнился всем как веселый собеседник. Однако не это притягивало меня к нему, а доброта и глубокая постоянная печаль, она скорее скрывалась, никогда не была навязчивой, но я ее неизменно чувствовал.

Не всегда и шутки Евгения Львовича были веселыми. Помню вечер вскоре после конца войны у О. Ф. Берггольц. Мы долго рассуждали, что означают некоторые перемены в составе правительства. Шварц, молчал. Потом, мягко улыбаясь, сказал: «А вы, друзья, как ни садитесь, только нас не сажайте». Это было неожиданно, и, конечно же, мы рассмеялись, но смех был невеселым.

В другой раз я рассказывал Шварцу московские новости, сказал, что над Камерным театром снова нависли тучи. Шварц огорчился; он хорошо относился к А. Я. Таирову да и наступление сил, враждебных искусству, не могло не опечалить его. Однако пять минут спустя он не выдержал и начал декламировать шутливые стихи А. К. Толстого:

Таирова поймали.

Отечество, ликуй!

Таирова поймали.

Ему отрежут нос.

Потом он начал рассуждать: «Конечно, Александр Яковлевич не знал этих стихов, когда выбрал актерский псевдоним. В общем, псевдонимы опасное дело. Лидин - хороший псевдоним, у Пушкина «смеялся Лидии, их сосед, помещик двадцати трех лет». А вот Андрей Белый стал почти что красным, Демьян Бедный, по нашим понятиям, жил богато. Артема Веселого посадили - это совеем невесело...»

Мы шли по ленинградской улице в книжный магазин. Шварц был, как всегда, весел. Потом он спросил меня, кого из русских писателей я больше всех люблю. Я ответил, что Чехова. Евгений Львович остановился и отвесил мне церемонный поклон, как придворный в одной из его сказок: «Приветствую! Чехова любят, наверно, миллионы, но миллионы одиночек. А Льва Николаевича любят дивизии, мощные коллективы, дружные семьи...»

Когда в 1948 году шла борьба с «низкопоклонством», Шварц рассказывал о том, что мы открыли, и добавил: «У Чехова патриот говорит: «Русские макароны лучше итальянских». Антон Павлович многое предвидел. Небо в алмазах мы тоже видели - в сорок первом, на крыше...»

Я долго рассказывал Шварцу о домике Андерсена в Одензе, о чемоданах, о большущих зонтиках; он расспрашивал детально, как будто речь шла о доме его прадеда. А потом сказал: «Андерсена датчане сильно прорабатывали. Это очень старая привычка... В общем, короли не любят, чтобы их показывали нагишом, их можно понять - это прежде всего неудобно».

Шварц был прирожденным сказочником, и, на его счастье, мною лет его называли «детским писателем», хотя его сказки зачастую были понятны только взрослым. Детям у нас везло, я говорю это без иронии, скорее с гордостью, даже в самые черные годы советские дети

знали лагеря пионеров, а о других лагерях не догадывались. «Детским» писателям было легче, чем тем, которые писали явно для взрослых. Любой тупой педагог все же менее страшен, чем следователь. Шварц как-то сострил по этому поводу: «Лучше получить кол, чем попасть на кол...» Помню, на Втором съезде писателей одну из сказок Шварца называли «вредной пошлостью». Евгений Львович был болен и тяжело пережил обиду. Но это был глупый укол булавкой, копьем его не прокалывали. Да на этом же съезде О. Ф. Берггольц взяла под защиту Шварца.

Были, однако, у Евгения Львовича долгие и унылые неприятности. Я думаю сейчас о пьесе, которая мне кажется самой сильной из всего, что он написал: о «Драконе». Он начал эту пьесу еще до войны, а написал ее в Душанбе в 1943 году. Год спустя Н. П. Акимов поставил «Дракона» в Москве. Пьеса была разрешена Главреперткомом, одобрена всеми, кому полагалось одобрять или не одобрять, а после первого спектакля ее неожиданно запретили.

Я никогда не вмешивался в решения Комитета по делам искусств: не верил, что у искусства есть «дела», которыми могут ведать люди, весьма далекие от искусства. Но на этот раз я не выдержал и пошел на совещание, посвященное «Дракону», в Комитет по делам искусств. Я не говорил ни об искусстве, ни о той вечной правде, которой посвящена пьеса Шварца. Шла война, совещание происходило 30 ноября 1944 года - за две недели до того наши войска прорвались в Восточную Пруссию. Я говорил о том, что «Дракон» - удар по моральной стороне всех закамуфлированных покровителей фашизма. Защищал пьесу Н. Ф. Погодин, страстно говорил С. В. Образцов. Никто из присутствовавших ни в чем не упрекал Шварца. Председатель Комитета, казалось, внимательно слушал, но случайно наши глаза встретились, и я понял тщету всех наших речей. Действительно, в заключение он сказал, что из всех мнений вытекает: над пьесой нужно еще подумать. Он хорошо знал, что совещание - пустая формальность. «Дракон» был поставлен восемнадцать лет спустя, четыре года спустя после смерти автора.

Евгений Львович всегда мучился над последними актами своих пьес, они ему давались с трудом. Он хотел, чтоб его пьесы были поставлены, а это далеко не всегда удавалось. В «Дракона» он внес много изменений, он, например, выбросил трогательное

воспоминание об убитом драконе. (Не помню точно текста, но был в первом варианте горожанин, который грустно вспоминал, что когда дракон дышал на город, можно было приготовить глазунью, не зажигая печи.) Однако и в исправленном виде сказка не потускнела. Я еще раз убедился, что художественное произведение, написанное на злободневную тему, если оно создано подлинным художником, не умирает.

Недавно опубликовали фантастический роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», написанный тридцать пять лет назад. Ершалаим - живой город, и главы, посвященные Понтию Пилату, я читал как замечательное повествование о нашем современнике, а главы, сатирически изображающие московский быт двадцатых годов, на мой взгляд, устарели. «Дракон» Шварца не зависит от того, какой канцлер теперь в Западной Германии,- и пьеса, кажется, будет волновать даже наших внуков. Перед нами город, который находится под властью дракона четыреста лет. Каждый год дракон убивает девушку, и вот отец очередной жертвы говорит: «У нас очень тихий город. Здесь никогда и ничего не случается... На прошлой неделе, правда, был очень сильный ветер. У одного дома едва не снесло крышу. Но это уже не такое большое событие». Странствующий рыцарь Ланцелот удивляется: «А дракон?» - «Ах, это? Но ведь мы так привыкли к нему... Он так добр... Когда нашему городу грозила холера, он по просьбе городского врача дохнул своим огнем на озеро и вскипятил его. Весь город пил кипяченую воду и был спасен от эпидемии... Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов - это иметь своего собственного». Кот понимает, почему его хозяин и дочка накануне гибели веселы: «Самое печаль-нос в этой истории и есть то, что они улыбаются». Обреченная девушка рассказывает, что после ее смерти горожане три дня не будут есть мяса, «к чаю будут подаваться особые булочки под названием «бедная девушка» - в память обо мне». Сын бургомистра называет дракона «дракошка... драдра». Бургомистр, как испытанный подхалим, говорит своему сыну: «Он, голубчик, победит! Он победит чудушко-юдушко! Душечка-цыпочка! Летун-хлопотун! Ох, как люблю его!... Ну вот так и доложи!» Отец знает, что сын подослан драконом, и в умилении говорит ему: «Ах, ты мой единственный, ах, ты мой шпиончик!... Карьеру делает, крошка...» Дракон презрительно поучает Ланцелота:

«Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело пополам человек околеет. А душу разорвешь станет послушной и только... Безрукие души, безногие души, глухонемые души, ценные души, легавые души, окаянные души. Знаешь, почему бургомистр притворяется душевнобольным? Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет души. Дырявые души, продажные души, прожженные души, мертвые души».

Конечно, в итоге пьеса кончается хороню: в сказке, где имеется дракон, шапка-невидимка и ковер-самолет, плохой конец был бы такой же нелепостью, как счастливая развязка в «Анне Карениной» или в «Госпоже Бовари». Шварца ругали не за концы, а за начала. Евгений Львович шутя говорил: «Знаете, почему запретили «Дракона»? Освобождает город некий Ланцелот, который заверяет, что он дальний родственник знаменитого рыцаря, возлюбленного королевы Геньевры. Вот если бы вместо него я показал бы Тита Зяблика, дальнего родственника Алеша Поповича, все было бы легче...» Однако у запретивших пьесу были куда более веские резоны: Шварц бичевал деспотизм, жестокость, приспособленчество, подхалимаж. «Цепкие» души рассердились: это было в 1944 году не по сезону.

Е. Л. Шварц был не только большим художником, но и воистину добрым человеком. Доброта, вопреки мнению многих, не столь распространенное свойство, это скорей дефицитный товар.

Незадолго перед смертью Шварц написал сценарий по «Дон Кихоту» для режиссера Г. М. Козинцева. Все эпизоды фильма созданы Сервантесом, но в картине нет ни одной фразы, переписанной из романа: диалог написан Шварцем. «Дон Кихот» Шварца и Козинцева резко отличается от того образа рыцаря Печального Образа, который был распространен в нашей стране, он соответствует пониманию испанцев Мигеля Унамуно и Антонио Мачадо: Дон Кихот и Санчо - два выражения одного лица и нельзя отделить Дульцинею от Альдонсы; жесткий реализм сплавлен с вечной романтикой.

Я смотрел «Дон Кихота» в Стокгольме и чувствовал, как оттаивали сдержанные молчаливые шведы. А когда, умирая, Дон Кихот прощается с «дамой его сердца», когда он садится снова на Росинанта, а Санчо на своего осла, чтобы продолжать странствия, я настолько был растроган, что не сразу очнулся.

Что к этому добавить? Когда Евгению Львовичу исполнилось шестьдесят лет, я его поздравил и в ответ получил от него ласковое письмо. Я и раньше замечал, что руки Шварца часто дрожали; в последний год его жизни это, видимо, усилилось. Я гляжу на лист с большими буквами, которые содрогаются, как фигуры людей на рисунках Джакометти. Так мог бы подписаться Дон Кихот, избитый «реалистами», или смертельно раненный Ланцелот.

Двенадцать лет - с 1954 года по 1966-й - я был депутатом от различных районов Латгалии, из них восемь лет от города Даугавпилса и соседних районов. Вероятно, избирательные участки доставались мне потому, что в них жили люди различных национальностей: русские, латгальцы, евреи, поляки, белорусы, литовцы; разговорным языком почти всюду был русский. Когда перед выборами я приехал в одно старообрядческое село возле Даугавпилса, колхозники, бородатые и похожие на дореволюционных русских крестьян, встретили меня с подносом - хлеб, соль. Они говорили: «Слава тебе, господи, прислали русского!...» (Я был «русским» в отличие от латышей.)

Депутат Верховного Совета должен тратить свои силы не на коротких сессиях, где он слушает и голосует, а и любое время года - он выполняет просьбы местных властей и куда чаще обиженных судьбой избирателей, он адвокат, ходатай, толкач. Даугавпилс стоил мне много трудов, и, вспоминая о нем, я до сих пор чувствую шишки на лбу - от пробитых и непробитых стен. Трудно назвать этот город благополучным и спокойным. Он менял наименования, некогда был Невгиным, потом Динабургом, потом Двинском и после присоединения Латгалии к Латвии сделался Даугавпилсом. Правили им различные власти: рыцари Литовского ордена, Речь Посполита, шведские короли, русские губернаторы, Совет рабочих депутатов, айзсарги Ульманиса, наконец. Советское правительство.

В Динабургской крепости томился Вильгельм Кюхельбекер. Кюхля. над судьбой которого мы издыхали, читая роман Тынянова. В военном городке я увидел мемориальную доску, которая напоминала об этой давней трагедии. Почти полтора века Двинск был уездным городом Витебской губернии, и накануне первой мировой войны в нем числилось сто двенадцать тысяч жителей - больше, чем в губернском Витебске.

Я никогда не бывал и дореволюционном Двинске и сужу о нем по книгам да по рассказам старожилов. Один пенсионер в Даугавпилсе восторженно вспоминал 1905 год: «Все, знаете, кипело. С утра до

ночи митинги. Я помню, как выступал один большевик, его звали Александром, у них были совсем другие имена, чем на самом деле, он вышучивал царя, как цыпленка. У большевиков был клуб, туда ходили все, даже солдаты из крепости. Там был товарищ Мефодий, так, если случалось скандальное происшествие, идут не к приставу, а к Мефодию, честное слово! Пели «На бой кровавый, свитый и правый, марш, марш вперед, рабочий народ!...» Митинги устраивали и на площади, и в театре, и в синагоге. Раввин прибежал, кричит «ша!», не тут-то было...» (Потом я узнал, что Мефодием был Д. З. Мануильский, с которым я в молодости встречался в Париже.)

По официальным данным, в Двинске в 1914 году было четыре театра и три кинематографа. Первый русский театр открылся в Динабурге в 1857 году; антрепренер, он же актер Медведев, писал, что Динабург был «беднейшим и грязнейшим городом России», но любители пробирались в театр по темным улицам.

Треть жителей в дореволюционном Двинске были евреи. За шесть недель до начала первой мировой войны в Двине к приехал Шолом-Алейхем - читал в театре свои рассказы. Он писал одному из своих друзей: «Такого приема, как в Двинске, я не видел нигде. Вокзал был заполнен еврейской молодежью, засыпан цветами... и всю дорогу от вагона до кареты покрыли цветами... Офицеры, жандармы, полиции чрезвычайно удивлялись. Одни говорили, что приехал знаменитый раввин, другие, что это, наверно, еврейский Чехов или Горький». На вечер пришло столько народу, что пришлось его повторить.

В Двинске родились советские беллетристы Л. И. Добычин, А. Т. Кононов и Александр Исбах. По словам Литературной энциклопедии, Добычин - автор трех книг - был талантливым писателем, но критика его обвиняла в том, что «он сгущает мрачные краски, описывая действительность». В 1936 году, не дожидаясь оргвыводов, Добычин, которому было сорок два года, кончил жизнь самоубийством. Не знаю, как сложилась жизнь Кононова. А. Исбах хлебнул горя его обвиняли в «космополитизме» и отправили в концлагерь, где его грозили убить бендеровцы, в свою очередь не жаловавшие «космополитов»; однако он вернулся живой и сохранил до сего времени энтузиазм бывшего комсомольца.

В годы 1919 - 1940 Даугавпилс захирел. В нем осталось сорок тысяч жителей, уехали ремесленники, лавочники, позакрывали многие фабрики. Большая Советская Энциклопедия писала, что во времена Ульманиса Рига рассматривала Латгалию как «полуколониальную страну». Домов не строили, кроме одного, который должен был доказать жителям Даугавпилса мощь Латвии; это было здание с двумя большими залами - театр и концертный зал, с бассейном для плавания, гостиницей и музеем. Жилищного кризиса не было, так как население уменьшилось втрое.

Во время войны было разрушено полностью 1687 жилых домов и частично 1490. В 1914 году в Двинске было 6300 жилых домов. После Отечественной войны две трети домов были разрушены. А население начало расти. Правда, меньше стало уроженцев города. Евреев, не успевших эвакуироваться (Даугавпилс был занят гитлеровцами на четвертый день войны), сначала переселили в гетто, а потом убили в одном из пригородов. Часть чиновников Ульманиса убежала в Швецию. Зато многие демобилизованные поселились в Даугавпилсе - у одного гитлеровцы сожгли дом, у другого убили семью, третий за годы войны отвык от прежнего быта и пытался устроиться на новом месте.

Когда в начале 1954 года я впервые приехал в Даугавпилс, многие семьи ютились в темных подвалах, в бараках, даже в военных убежищах, где люди прятались от бомб. На одну душу приходилось четыре квадратных метра жилплощади чуть больше, чем полагается мертвецу на кладбище.

Разрушенные частично дома залатали. Счастливчики устроились - кто получил квартиру, кто построил домишко. В 1956 году приходилось на человека пять метров, в 1960 году - шесть. Однако эти цифры не отражали действительности - ведь были в городе и люди, занимавшие просторные квартиры. А были и семьи из четырех-пяти душ, которые задыхались на шести квадратных метрах. Передо мной были не цифры, а живые люди, ждавшие меня с раннего утра в приемной. Чуть ли не каждый день я получал письма, и большие кривые буквы кричали: «Мы не живем, мы мучаемся и гибнем. Спасите!»

Мне сейчас тесно от множества папок с письмами из Даугавпилса. Меня обступает давняя тоска. Я взял наугад несколько

десятков писем. Л. Мицкевич писала: «Я понимаю, что вы тоже человек, хотя и больших заслуг». Она пишет, что живет с мужем и двумя детьми в комнате из Одиннадцати квадратных метров, стоит на очереди остро нуждающихся в жилплощади с 1950 года, а пишет она в 1958 году. Инвалид Дермидович жил на чердаке с вертикальной лестницей - пять с половиной метров, с ним жена и четырехлетний ребенок, который дважды падал с лестницы, получая тяжелые ушибы. В 1959 году Дадыкин с женой и двумя детьми и с братом помещались на десяти квадратных метрах. Дворник пединститута Сергеенко жила у родителей, там было шесть душ и девять квадратных метров. Адвокат Гейн шестидесяти лет жил со старшей сестрой в конуре; они спали по очереди на одной кровати, поставить другую не было места, - спали на табуретах, тринадцать лет он стоял на очереди. Чумилова жила на десяти метрах с мужем, у которого был острый туберкулез, и с тремя детьми. Она была на очереди с 1957 года 689-й, а в 1960 - 676-й. «По такому расчету я получу комнату через тридцать лет после смерти». Сергеева проживала в аварийном доме лестница обвалилась, печь не действовала, прожила она так семь лет. Пасторе с ребенком жила в сырой камере - пять с половиной квадратных метров - шесть лет, я писал о ней, просил, наконец ей дали комнату: «Вы спасли моего ребенка от верной смерти». Семья Шутова из восьми человек ютилась в развалившейся комнате на пяти квадратных метрах. Актер городского театра Демидов вместе с другими актерами жили в служебном помещении - шесть квадрат-ных метров, с ними ночевала молодая актриса, которая, не вытерпев таких условий, уехала в другой город. Уборщица Дмитриева должна была платить частнику за угол десять рублей, а получала она тридцать рублей в месяц. Мужа не было, но был ребенок. Жуковы с ребенком имели пять квадратных метров - при кухонное помещение. Скреба, бывшая подпольщица при немецкой оккупации, с мужем и тремя детьми жила на шести квадратных метрах. А. А. Анцаинс писала: «Живу с матерью, которой семьдесят три года, на кроватном месте, три сына матери погибли на Отечественной войне, четвертый получил контузию и стал инвалидом... Разве не смехотворно, что за пять лет мы продвинулись всего на четыре номера?» Работница «Красного мебельщика» молила: «Не могу дольше жить с мужем и четырехмесячным малышом в кладовке, притом проходной - семи метров...» Муж Созоненковой

погиб, она работала и получала (в старых рублях) в месяц 230 рублей, из них она платила частнику за комнатку 60 рублей, за свет 15. Жила она за городом, и 15 рублей обходился проезд трамваем к месту работы; у нее был сынишка: «Остается 135 рублей, на них мы никак не можем прожить... Сейчас зима, холодно - не отапливают. Как дальше быть?» Мосляковой дали десять метров, но в аварийном доме, печь не действовала, и дверь была стеклянная, с нею жил отец восьмидесяти трех лет и больной ребенок. Педагоги Семеновы и дочь восьми лет жили в четырех километрах от города на семи квадратных метрах. Хватит считать квадратные метры и мерить человеческое горе, я мог бы привести сотни сходных жалоб, но я пишу не доклад председателю исполкома, а книгу воспоминаний. Пусть читатель представит себя на полутора-двух квадратных метрах здесь ему не до чтения мемуаров, а повеситься только, как это сделал один рабочий даугавпилсского завода.

В 1957 году пленум горсовета принял резолюцию: «Исполком Горсовета допускал серьезные ошибки в распределении и закреплении жилплощади. Зачастую жилплощадь предоставлялась гражданам без установленной очереди. Так, в этом году из 111 семей, получивших жилплощадь, 44 семьи не стояли на очереди». Местные власти объясняли мне, что им приходится предоставлять квартиры специалистам, советским и партийным работникам, которых присылает Москва или Рига. Были, наверно, и злоупотребления. Я много раз предлагал, чтобы списки стоящих на очереди были вывешены в горисполкоме - каждый мог тогда бы проверить, кому дали квартиру или комнату в построенном доме, но мои предложения неизменно отклонялись. Все же дело было не в ломтях хлеба, неправильно распределенных, а в недостатке муки. С 1960 года начали больше строить жилые дома, и положение, несколько улучшилось.

(Конечно, все условно: в справке, представленной мне исполкомом 1 августа 1960 года, в Даугавпилсе жили в домах аварийных и подлежащих сносу 1267 человек, а на очереди за получением жилплощади числилось 3336 душ; следовательно, всего 4603 человека жили в тесноте и в обиде; но дома строили и у злосчастных обитателей лачуг или подвалов помнилась надежда.)

Я не раз обращался к председателю Совета Министров СССР и в Секретариат Центрального Комитета и в 1954-м, и в 1957-м, и в 1960 году - просил ускорить строительство жилых домов и промышленных предприятий, которые позволили бы дать работу женщинам.

В 1957 году в Даугавпилсе на заводах и фабриках, в различных мастерских работали всего 8400 человек, а о трудоустройстве просили 6000 - главным образом женщины, которые не могли рыть землю или таскать камни. Я поддержал просьбу горкома и горисполкома: построить часовой завод, кабельный завод, крупную трикотажную фабрику, расширить завод «Электроинструмент», фабрику «Красный мебельщик» и мясокомбинат. Часть предложений была принята, и в этом вопросе, чрезвычайно остром, также наметилось улучшение.

Остро стоял вопрос о пенсиях: старые обитатели Даугавпилса по большей части не обладали документами о прежней работе. Передо мной одно из последних дел Т. Д. Трофимову назначили в 1950 году пенсию, а десять лет спустя перестали ее выплачивать: пересмотрели документы и заявили, что он не доработал до срока трех месяцев. Старику было восемьдесят три года, и работать больше он уже не мог. Выяснилось, что отдел социального обеспечения при эвакуации сжег документы. Дело перешло в латвийское министерство, и год спустя признали, что виноват отдел, и удовлетворились свидетельскими показаниями: он начал получать, как указывал документ, «30 рублей 71 коп».

Порой я помогал местным властям. Я раздобыл, например, четыре километра рельсов для ремонта трамвайного пути. Порой мне приходилось бороться с затверженными навыками прежней эпохи. Парк и скверы были в жалком состоянии, отвечали - «нет средств»; между тем отпущенные на озеленение города деньги потратили на часы из цветов, которые вскоре остановились. Освещали, как Бродвей, центральную площадь возле гостиницы и путь до нее от вокзала, а улицы окраин вовсе не освещались, и остряки называли их «Костоломными». Я написал об этом статью в местной газете, которая не всем понравилась. До часа дня в городе нельзя было позавтракать - рестораны предпочитали вечерние часы, когда посетители пьют не чай, а водку. Командировочным в гостинице ничего не отпускали. Конечно, это мелочь по сравнению с проблемами трудоустройства и жилплощади.

Почему я посвятил Даугавпилсу главу, может быть, скучную для читателя? В этом неблагополучном городе я узнал изнанку жизни. Мне было под семьдесят, изнанка не могла скрыть от меня лицевой стороны, и видел несчастье и успехи, пот людей и горы канцелярской бумаги - писателю нужно знать все. Я знаю молодых авторов, которые написали по одной хорошей книге, а потом, перекочевав в Москву, стали ездить в международных вагонах в Ялту и встречаться только со своими коллегами. Немудрено, что ничего путного они больше не писали. Учиться надо и в старости, иначе придется умереть задолго до смерти.

Я рад, что участвовал в повседневной жизни города, не знаю, почему именно мне пожалованного. Знаю я философов, которые, прочитав такое, пренебрежительно отмахиваются: «То малые дела». Обычно подобные рассуждения исходят от людей с весьма передовыми идеями, но с душевной ленью. Нет малых дел: есть работа и есть безделие, есть участие и холод сердца.

Вот почему я и написал про мой Даугавпилс.

В седьмой части этой книги я писал о годах, о людях и куда меньше о своей жизни. Правда, события, о которых я рассказывал, разуверения и надежды были тесно связаны с моей судьбой, но они не отделены ни от меня, ни от читателей длинными десятилетиями, их помнят даже молодые; перестав быть газетными новостями, они еще не стали историей. Это заставило и заставляет меня многое опускать, повествование становится суше, чем того хотелось.

Осенью 1957 года я неожиданно для себя начал писать стихи. Это было в яркий холодный день осени. Я стучал на машинке, поглядел в окно.

И вдруг, порывом ветра вспугнуты,
Взлетели мертвые листья.
Давно растоптаны, поруганы
И все же, как любовь, чисты.
Большие, желтые в рыжие
И даже с зеленью смешной.
Они не дожили, но выжили
И мечутся передо мной.
Но можно ль быть такими чистыми?
А что ни слово - невпопад.
Они живут, но не написаны.
Они взлетели, но молчат.

Так я закончил первое стихотворение, написанное после перерыва в десять лет. Все, что приключилось в мире за последнее десятилетие, заставляло меня часто и мучительно думать о людях, о себе: эти мысли выходили из ранок исторических оценок, ставились невольными итогами длинной, трудной и зачастую сбивчивой жизни.

Помню, как Фадеев, защитая поэзию Ольги Берггольц, советовал ей отказаться от термина «самовыражение». Действительно, много слов, начинающихся с предлога «само», звучат скорее порицательно: самовластие, самоуправство, самохвальство, самочинство, самообожание, самонадеянность, самодовольство и так далее. Однако лирическая поэзия слишком часто является именно самовыражением

или, если слово не нравится, дневником. В отличие от дневников, стихи могут быть связаны с одним часом или с долгими годами жизни, но они неизменно рассказывают о том, чем жил автор, об его мыслях и чувствах. Разумеется, не каждый читатель примет то или иное стихотворение за выражение его мыслей и чувств, но каждый, прочитав то или иное стихотворение, неожиданно удивится: как точно выразил поэт то, о чем он смутно думал.

Шестьдесят лет назад Брюсов провозглашал: «Быть может, все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов»; это было одним из многочисленных литературных манифестов, и, конечно, для самого Брюсова многие события - и личные, и общественные - были не средством, а сущностью. Мой поэтический дар и мастерство весьма ограничены, и, вспомнив еще раз слова на «само», и вправе сказать, что никогда не страдал самообольщением. Мои стихи это дневник; в списке членов Союза писателей я значусь «прозаиком». Если в книге воспоминаний я не раз останавливался на моих стихах и теперь снова к ним возвращаюсь, то только для того, чтобы рассказать о самом себе. Стихи отвлеченнее и, вместе с тем, конкретнее прозы, в них можно рассказать о большом, не впадая в ту нескромность, которая всегда мне претила.

Я рассказывал, как XX съезд потряс и моих соотечественников, и граждан зарубежных стран, как в любой советской семье шли разговоры, полные страсти, как один из французских догматиков мне говорил: «У вас происходит термидор», как Роже Вайян плакал одновременно и над Сталиным, и над его жертвами. Может быть, иному читателю может показаться, что я наблюдал события 1956 года со стороны, как бесстрастный летописец. Нет, я многое передумал, и буря противоречивых страстей трепала меня, как утлое суденышко среди разъяренного моря.

В 1938 году, думая над тем, что происходит в нашей стране, я писал стихи, полные отчаяния:

Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,
Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась...

...

Чтоб биться с врагом, чтоб штыком - под бомбы, под пули.
Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули.
Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость.

Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.

Двадцать лет спустя, узнав и пережив многое, я думал над тем, «что с нами в жизни случилось». Обращаясь к воображаемым «детям юга», я говорил:

Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне.
Хоть ненароком догадаться.
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.
А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не било печали,
А только гордость и беда.

Я говорил, что не мог поверить во многое из того, что писали или говорили о «врагах народа», никогда я не подписывал обращений, требовавших смерти мнимых «предателей». Однако я не хочу выставлять себя как мудрого и смелого изгоя. Подобно всем моим соотечественникам, я «вжился» в зимы сталинских лет. В декабре 1949 года я написал статью «Большие чувства» и в ней рассказывал о том обожании Сталина, которое я видел и у нас на фронте, и в Испании, и среди французских партизан. Эта статья может быть справедливо отнесена к «потоклу приветствий». Обожествление человека тогда мне казалось цементом нашего общества, порукой, что идеи Октября будут ограждены от врага. Я не думал оправдывать себя: не веруя, я поддался всеобщей вере. Я проклинал слепую веру:

Вера - очки и шоры.
Вера двигает горы.
Я человек, не гора.
Вера мне не сестра.

...

Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел - билась земля.
Видел я небо в пепле.

Вере не верю я.

Порой, задумываясь о недавнем прошлом, я сурово судил и себя, и всех, с которыми встречался, плотное молчание, как густой туман стоящее вокруг, шепоток - такой-то «загремел» - и обычные каждодневные заботы. Я писал о том, что казалось мне воздухом в шахте, плотком воды в каменной пустыне:

Есть надоедливая вдоволь повесть,
Как плачет человеческая совесть.

...

Она скулит, что день напрасно прожит
И что не лезет вон никто из кожи.
Что убивают лихо изуверы
И что вздыхают тихо маловеры.
Она скулит, никто ее не слышит
Ни ангелы, ни близкие, ни мыши.
Да что тут слушать? Плачет, и не жалко.
Да что тут слушать? Есть своя смекалка.
Да что тут слушать? Это ведь не дело,
И это веем смертельно надоело.

Что меня поддерживало? Верность. Я повторялся: еще в 1939 году я написал стихотворение «Верность» (так назывался и сборник стихов).

Грусть и мужество - не расскажу.
Верность хлебу и верность ножу.
Верность смерти и верность обидам.
Вреда сердца не вспомню, не выдам.
И сердце целься! Пройдут по тебе
Верность сердцу и верность судьбе.
В 1957 году я кончал стихотворение о вере:
Верю тебе лишь, Верность,
Веку, людям, судьбе.

Вспоминая пути и перепутья моей жизни, я видел в них некоторую единую линию:

Одна судьба - не две - у человека,

И как дорогу тут ни назови,
Я верен тем, с которыми полвека
Шагал я по грязи и по крови.

«Грязь и кровь» для меня были не логическим следствием идей Октября, а их попранием. Я не мог понять некоторых зарубежных друзей, которые еще недавно прославляли не только Сталина, но его опричников, одописцев и богомазов, а услышав правду о недобрых годах, усомнились в самой возможности более справедливого общества. Религии знали фанатиков и отступников они держались на вере и на отказе от веры, но как все это далеко от поединка между старым и новым миром! Меня поддерживал героический труд нашего народа, его самоотверженность в годы войны, его творчество, загнанное под землю и нее же пробивавшееся из-под земли живыми родниками. Стихи я писал не в 1956 году, а в 1957 - 1958 годы, когда наступили заморозки. когда Н. С. Хрущев перед Мао Цздуном восхвалял Сталина, когда любой расторопный газетчик выливал на меня ушаты грязи; и все-таки я знал, что земля вертится, что к прошлому нет возврата. Я писал о часовом:

Быть может, и его сомненья мучают,
Хоть ночь длинна, обид не перечесть,
Но знает он - ему хранить поручено
И жизнь товарищей, и собственную честь.

Мои стихи не ограничивались теми сложными и трудными вопросами, которые стояли перед всеми нами после 1956 года. Я впервые ощутил свой возраст. Нужно было многому научиться в той науке, которой не преподают ни в какой школе. Я говою о «соседе», которого знал слишком хорошо:

Погодите, прошу, погодите!
Поглядите, прошу, поглядите!
Под поношенной, стертой кожей
Бьется сердце других моложе.

Я писал о подмосковном саде, в котором многие цветы зацветают накануне первых заморозков, и признавался:

И только в пестроте листвы кричащей,
Календарю и кумушкам назло,
Горит последнее большое счастье,
Что сдуру, курам на смех, расцвело.

Я впервые усомнился в том материале, с которым связал свою длинную жизнь,- в верности и точности слова. Конечно, я и раньше страстно любил стихи Тютчева о молчании и часто повторял про себя: «Молчи, скрывайся и тай», но те опавшие листья, с которых я начал первое стихотворение, были именно словами, бессилием выразить себя. Мне казалось, что я чувствую природу слова, его цвет, запах, нежность или грубость оболочки, но любое слово падало в бессилии, повышавшее или принижавшее. Я видел, что не могу сказать того, что хочется:

Ты помнишь - жаловался Тютчев:
«Мысль изреченная есть ложь».

...

Ты так и не успел подумать,
Что набежит короткий час.
Когда не закричишь дискантом.
Не убежишь, не проведешь,
Когда нельзя играть в молчанку,
А мысли нет, есть только ложь.

Это было не только признанием своей поэтической беспомощности, да и не только самовыражением. В повести И. Грековой, напечатанной пять лет спустя, я нашел такой разговор молодых сотрудников лаборатории о моих стихах:

«- Ведь он не нов... ведь он готов, уютный мир заемных слов. Лишь через много-много лет, когда пора давать ответ... мы разгребаем... да, кажется, разгребаем... мы разгребаем груды слов - ведь мир другой... он не таков... слова швыряем мы в окно и с ними славу заодно...

– Что это? Постой, что это? Не что, а кто, дурья голова.

– Ну, кто это?

– Это он. Эренбург».

Мне кажется, что в этой главе я хотя бы условно и, наверно, художественно маловыразительно рассказал о моей жизни тех лет, о клубке, где сплелись различные нити. Может быть, читатели о многом другом догадаются - они ведь не далекие потомки, а мои современники.

Осенью 1959 года я впервые увидел Армению. «Слишком поздно», мог бы я сказать себе, но в старости любовь глубже.

На ереванском аэродроме меня и Любу встретили М. С. Сарьян, писатели, старые и молодые. Нас отвезли в гостиницу; все поднялись в номер, и, подойдя к окну, один писатель воскликнул: «Отличная комната не видно памятника!...» Над городом высилась огромная статуя Сталина; подобные памятники можно было увидеть еще в любом городе, но по размерам он был исключительным - вместе с постаментом свыше пятидесяти метров. Виден он был отовсюду, и жители Еревана сокрушались, что не успели его убрать в 1956 году.

(После XXII съезда памятник снесли. Остался постамент, а поэт Гсворг Эмин писал:

Стоят без монументов пьедесталы.

Пуст пьедестал, Но все еще тяжел.

...

Пора разрушить камни пьедестала!

Разрушим их, чтоб никогда не встала

На них гранитная пята...)

Вечером в ресторане официант принес нам бутылку шампанского, вставленную в корзину с фруктами. Я удивился, он пояснил: «Посетители подносят». Я знал кавказское гостеприимство, но меня удивило, что люди, заплатившие за шампанское, не подошли к нашему столику с пышным тостом. Вскоре я понял, что в армянах страстность и непосредственность сочетаются с душевной сдержанностью.

Мне придется напомнить об истории. В 1926 году я был в Трапезунде. Работник советского консульства показывал мне изуродованные статуи древнего армянского храма и рассказывал, как десять лет назад турки по приказу министра внутренних дел Талаата-иаши уничтожили всех армян; они загоняли злосчастных на транспорты, уверяя, что отвезут их в Сивас; транспорты вскоре вернулись пустые; армян сбросили в море.

Во всей Турции армян якобы переселили в другие области, на самом деле их уничтожали, убивали в горных ущельях, кидали в море, оставляли без воды в пустыне; некоторое количество красивых девушек поместили в публичные дома для солдатни, а вообще убивали всех - и женщин, и стариков, и грудных младенцев. Это было первым опытом геноцида. Гитлеровцы убили шесть миллионов евреев, младотурки - полтора миллиона армян. Если восемьсот тысяч армян добрались до России, до стран Арабского Востока, до Франции и Соединенных Штатов, то объясняется это отсутствием немецкой аккуратности, отсталостью техники - у турок не было газовых камер.

Нацисты учли опыт турецких изуверов: в 1939 году на секретном совещании фашистов в Оберзальцбургере Гитлер, изложив план поголовного истребления евреев, добавил: «Нечего обращать внимание на «общественное мнение»... Кто теперь помнит об истреблении армян?»

В наш век национализм повсеместно торжествует. Однако нужно уметь отличить память об убитых от памяти убийц. Чувства армян мне понятны. Исчезла Западная Армения - изумительные памятники древнего зодчества, традиции - от высоких мастеров раннего средневековья до молодых писателей начала нашего века. Уцелевшие рассеяны по всему свету. Из трех армян один далеко от Еревана, может быть, в Бейруте, в Лионе или в Детройте. Для любого армянина Арарат, который высится над Ереваном, - тень растерзанной Западной Армении. Арарат изображают на холстах и на пачках сигарет, на коньячных ярлыках и на пригласительных билетах.

После второй мировой войны двести тысяч армян переехали в Советскую Армению. Многие прижились, но были и не поддающиеся пересадке. Вероятно, они поддались своим чувствам и недостаточно знали о социальном строе и о быте нашей страны. Один мастер-ювелир мне жаловался: в Каире он изготавливал художественные безделки и жил припеваючи. А что ему делать в Ереване? Дантист привез из Бейрута оборудование зубоврачебного кабинета, а тут ему сказали, что он не имеет права заниматься частной практикой. Со многими мне пришлось разговаривать по-французски: не знали русского языка. На толкучке женщины продавали привезенное из Франции барахло. Подросток, приехавший с отцом из Франции,

называл себя сюрреалистом, писал стихи на французском языке и мечтал вернуться к матери, которая осталась в Париже.

Я пошел в мастерскую художника Галенца. Он приехал в Армению из Ливана. Он жил и работал в сарае, который трудно было назвать мастерской. Он не жаловался, хотя интервью со мной три дня держали в редакции, уговаривая снять имя «формалиста» Галенца. Ему помогал в Москве известный физик А. И. Алихапьян. Время еще было трудное - к 1959 году холсты А. Герасимова среди некоторых чиновников считались образцами искусства, Галенц в конце концов победил: в Ереване выставили его холсты. Вскоре после этого он умер.

Патриотизм армян обострен, подчас он может показаться иступленным, но никто не спутает его с шовинизмом, отрицающим чужую культуру, и никто не назовет его провинциализмом. Кажется, среди армян я не встречал людей, чуждых идее интернационализма.

Я вспоминаю встречу в Москве с Аветиком Исаакяном. У него было лицо с множеством морщин, похожее на древний пергамент, лицо философа и ашуга. Александр Блок писал: «Поэт Исаакян - первоклассный; может быть, такого свежего и непосредственного таланта теперь во всей Европе нет». Исаакяну повезло, его переводили задолго до стандартизации переводов, переводили поэты - Блок, Брюсов, Пастернак, Ахматова. Стихи его не всегда были «светлыми». Он умер восьмидесяти двух лет, половину из которых прожил далеко от родины. В старой поэме об Абу Ала Маари, посвященной уходу от жизни знаменитого арабского поэта XI века, он писал:

Людей и народ покинули мы? Закон, справедливость, отчизну, права?

Иди все вперед! Покинули мы лишь оковы и цепи, обман и слова!

Что слава? Сегодня возносит тебя, именуя, ликуя, к последней черте,

А завтра с презреньем камнями бьют и топчут, повергнув, в своей слепоте.

...Да что и отчизна? Глухая тюрьма! Поле брани и злобы, где правит толпа,

Где тиран беспощадный во славу свою в пирамиду слагает жертв черепа.

...Ненавижу я чернь! Раболепна, тупа, она повторяет любой глупый толк.

Но, духа гонитель, насилья упор, она, власть почуяв, свирепа, как волк.

И общество что? Только лагерь врагов, где все неизменно в презренном плену,

Оно не выносит паренья души, стремленья свободной души в вышину.

Общество - обруч, сжимающий дух! Ужасающий бич, свистящий под смех. Ножницы жизни, что режут людей, чтобы равными сделать, похожими всех...

Это - перевод Брюсова, один из лучших, но все же помеченный тяжелым шагом поэта, который называл свою мечту «волом». Я прочитал давно поэму о багдадском поэте во французском переводе, там не было рифм, и поэтому более верными были эпитеты и внутренний ритм стиха. Часто потом я вспоминал Абу Ала Маари. Кто же, прочитав эту поэму, скажет, что поэзии Армении носит ограниченно национальный характер?

Ереван - новый город, он вырос из большого восточного села с домиками, окруженными садами. Новая архитектура всех советских городов мало чем отличается: Дворец культуры в Таллинне родной брат бакинского или иркутского. Ереван отличает строительный материал - дома здесь розовые. Отличает этот город и другое: в 1959 году я увидел памятник поэту Егише Чаренцу; потом мы поехали с Сарьяном к арке Чаренца; там на камне его стихи, а перед глазами горы и необычайно зеленая долина Арарата. Главное, что отличает Ереван от других советских городов,- это характер обитателей. Не будучи злопамятными, они никак не хотят отказаться от памяти, видя в ней прерогативу человека. Они необычайно трудолюбивы - достаточно сказать, что многие виноградники выращены на земле, принесенной к уступам скал, или что в горных местах, накануне холодной континентальной зимы, виноградники укрывают, как в подмосковных садиках розы. У армян нет нашего «авось». В то же время это мечтатели, философы, поэты. Будучи людьми вполне современными, прекрасными физиками, астрономами, химиками, инженерами, в глубине домов, вернее, в глубине сердец они помнят язык горного ключа. Они меня многому научили.

Я напишу в одной из следующих глав о М. С. Сарьяне, я лучше понял его живопись, увидев Армению. Это край искусства. Стоит

посмотреть на развалины храма V века, на скульптуру средневековья или много позднее на портреты Святаяна в картинной галерее Еревана, увидеть собрание древних миниатюр, чтобы понять не только творчество Сарьяна, но особенности армянского глаза, веками воспитанного на подлинном искусстве. Вот почему выставка Фалька открылась в Ереване прежде, чем в Москве.

Как-то поехали с поэтом Эмином в «священный город» - Эчмиадзин. Там много памятников прошлого, и там резиденция католикоса. Вазген I незадолго до этого приехал из Румынии и кроме армянского прекрасно владел французским языком. Он пригласил нас к себе, и я увидел в его кабинете хорошие монографии - Матисс, Ренуар, Боннар. Я спросил его, любит ли он современную живопись. Он, улыбнувшись, ответил: «Я люблю все прекрасное». Видимо, он не только «католикос всех армян», но отменный дипломат да и живой человек.

Наирн Зарьян пережил в отрочестве страшную резню армян - он родился в Западной Армении. Такие вещи делают человека мудрым. В марте 1963 года, побывав на встрече, где меня ругали, он пришел ко мне и сказал: «Не обращайтесь внимания...»

Мне пришлось по душе веселый и печальный Эмин - в нем жива извечная самозащита поэта - романтическая ирония.

Я встречался со многими писателями; одни говорили, что наилучший жанр - лирика, другие восхваляли эпопею, третьи - короткую новеллу; были среди них и критики; одни были смелыми, другие осторожными, одни талантливыми, другие бездарными; но, кажется, ни один не увлекался жанром, который нельзя назвать иначе, чем доносами, и это было так же приятно, как хлеб лаваш или душистые персики. Воздух Армении придал мне силы.

Иногда незначительные происшествия остаются в памяти и заставляют о многом задуматься. Я хочу рассказать злополучную историю моих многолетних попыток ввести в наш обиход зимний салат, который на Западе называют «витлуфом» («белая головка») или «брюссельским цикорием». Бельгийцы действительно усердно выгоняют этот салат, экспортируют его в различные страны Запада, за что получают ежегодно около восьми миллионов долларов.

Почему прельстил меня этот салат? Я много лет прожил в Париже и привык зимой есть свежий салат. У нас свежие овощи можно найти в магазинах или на рынке с мая по октябрь, а в остальное время года ничего свежее квашеной капусты, соленых огурцов или в лучшем случае зеленого лука не достанешь.

Как-то давно я привез из Парижа пакет семян брюссельского цикория, посеял, выросли огромные изумрудные листья, я их попробовал и долго отплевывался - салат оказался горче хинина.

Оказавшись в Брюсселе, я рассказал Изабелле Блюм о своей неудаче; она повезла меня в Высшую сельскохозяйственную школу, где меня научили, как следует выращивать витлуф. Оказалось, что его высеивают в начале лета, после первых заморозков листья отрезают, а корнеплоды, похожие на крупную морковь, кладут в погреб. Витлуф можно выгонять с октября по апрель - в ящиках с любой землей, под стеллажами теплиц или в другом темном помещении. Ровно через месяц получают кочаны, они не зеленые, а почти белые. Этот салат как бы предназначен для условий центральной и северной России - зимой дни у нас куцые и ничего другого не вырастишь без дорогого подсвечивания.

Я подружился с молодым научным сотрудником Тимирязевской академии Н. Г. Василенко, человеком одаренным и, как у нас говорят, по своей природе «новатором». Я дал ему семена и бельгийскую книгу о культуре витлуфа, он увлекся. Мы оба выгоняли зимний салат, я для того, чтобы его есть, а Николай Григорьевич скорее для торжества правильной идеи. В конце 1959 года мы решили, что следует попытаться открыть широкий путь для витлуфа. Мы

предложили «Вечерней Москве» напечатать небольшую статью, оба ее подписали. Василенко уже успел защитить работу о капусте и стал кандидатом сельскохозяйственных наук. В январе та же газета поместила отчет о лекции Василенко перед специалистами о культуре витлуфа и статью почетного академика В. И. Эдельштейна - восьмидесятилетнего ученого, пользовавшегося большим авторитетом, который горячо поддерживал наши апологии витлуфа. Мы живем в век повсеместного увлечения самодеятельной медициной (достаточно напомнить, что журнал «Здоровье» у нас самый распространенный), и статья Виталия Ивановича должна была восхитить читателей «Вечерки» - он рассказывал, что витлуф не только вкусен, но чрезвычайно полезен он содержит неведомые мне вещества - индии и инулин.

В марте 1960 года «Вечерняя Москва» устроила встречу различных влиятельных людей, как, например, управляющего конторой «Сортсемовощ» и директоров крупных овощных совхозов, со мной и с Василенко. Приглашенных Николай Григорьевич угостил заправленным салатом витлуф. Кушали, хвалили, напечатали отчет с фотографиями, но дальше дело не пошло, нужно было купить семена в Бельгии, а никто не решался использовать на это несколько сотен долларов: «Режим экономии». На дегустации в редакции «Вечерней Москвы» присутствовал корреспондент бельгийской коммунистической газеты, который поспешил сообщить о внедрении витлуфа в меню советских граждан.

Во время сессии Верховного Совета А. Е. Корнейчук решил передать Н. С. Хрущеву медаль Всемирного Совета Мира. Во время перерыва он повел Н. С. Тихонова, М. И. Котова и меня в коридор, куда вышел Н. С. Хрущев. Поблагодарив нас за медаль, он вдруг обратился ко мне: «Я вашу статью о зимнем салате прочитал дважды. В первый раз я думал, что вы пишете о политике,- я ведь не знал, что вы занимаетесь и огородничеством...» Я понял, что фортуна может улыбнуться витлуфу, и спросил Никиту Сергеевича - не хочет ли он попробовать салат, он ответил: «Охотно». В тот же вечер я разыскал Василенко и попросил его послать Хрущеву витлуф - в Тимирязевке кочаны получились красивее и крупнее, чем у меня.

Месяц спустя Николай Григорьевич рассказал мне, что салат, видимо, пришелся по вкусу - часто приходят и требуют кочаны.

Прошел еще месяц, и Василенко вызвали в учреждение, ведающее закупкой семян, спросили, сколько нужно купить семян для того, чтобы вывести достаточное количество отечественных. Василенко ответил: «Сорок килограммов». «Что так мало?» - удивился человек, принадлежавший к тем людям, которых во Франции называют «крупными овощами», а у нас «ответственными». Николай Григорьевич объяснил, что семена салата очень легки и что сорока килограммов вполне достаточно.

Различные бельгийские газеты сообщили об успехе в Советском Союзе брюссельского цикория; одна сильно антисоветская даже запротестовала против продажи семян, уверяя, что русские собираются выгонять зимний салат на всю Европу, хотят вытеснить бельгийцев.

Семена пришли, большую часть корнеплодов оставили на второй год в грунте, чтобы получить семена. Казалось, дело сделано. Однако, как ни старался Василенко убедить различных директоров и управляющих, что необходимо напечатать маленькую инструкцию, он оказался бессильным.

Год спустя в одном из овощных магазинов появился витлуф - не зимой, а летом и не «вкусный овощ», а совершенно несъедобные зеленые кочаны.

На покупку семян в Бельгии потратили триста или четыреста долларов. На инструкцию не хотели выложить триста или четыреста рублей.

Прошло года два, и, наконец, инструкцию напечатали, но здесь встала новая, непреодолимая трудность - торговая сеть не захотела утруждать себя незнакомым овощем: «У нас в списке двенадцать различных овощей, хватит». Совхозы прекратили выгонку. Хрущев больше не интересовался салатом, а вскоре «крупные овощи» перестали интересоваться Хрущевым. Из нашей затеи ничего не вышло.

Говорят, что виноват консерватизм потребителей, это неверно. На моей даче жил сторож Иван Иванович со своей семьей. Когда он впервые увидел, что на грядке огорода взошел обыкновенный латук, он удивился: «Траву коровы едят, а не люди...» Потом он попробовал кочан и сказал: «Неплохо». Прожив у меня десять лет, он построил себе хороший кирпичный дом и вышел на пенсию, его жена Прасковья

Алексеевна недавно рассказала мне: «Иван Иванович за стол не садится, если нет салата...»

Николай Григорьевич успел жениться, скоро его сын пойдет в школу. Вышла книга Н. Г. Василенко «Малораспространенные овощи». Один из описанных им овощей - салат витлуф - продолжает оставаться у нас редкостью. Зато весьма распространены у нас те люди, которых французы называют «крупными овощами». О них никто еще обстоятельно не написал.

В 1958 году умер Фредерик Жолио-Кюри, это было тяжелым ударом по Движению сторонников мира, которое он создал и которым почти десять лет руководил. В области науки он был непримирим, и когда некоторые влиятельные руководители Движения попытались уговорить его быть сдержаннее в прогнозах и не утверждать, что термоядерная война угрожает существованию человечества, он хотел отказаться от функций президента. Но он умел сочетать верность принципам с необычайной мягкостью, ему удавалось помирить индонезийцев с голландцами или израильтян с арабами. При нем все старались быть строже к себе, снисходительнее к другим. За два или три года до своей смерти на одном из совещаний он включил в текст резолюции, протестовавшей против атомных испытаний, молоко как обладающее высоким процентом стронция. А. Е. Корнейчук умоляюще сказал: «Наши мамы только-только могут купить молоко, а прочитав про стронций, будут бояться дать молоко малышам...» Жолио улыбнулся и вычеркнул молоко из списка.

Он подготовил послание Всемирному конгрессу за разоружение, состоявшемуся в июле 1958 года; он убедительно писал о необходимости прийти к соглашению об отказе от термоядерного оружия. Месяц спустя я стоял в Сорбонне у его гроба.

Мы избрали председателем Всемирного Совета Мира друга Жолио профессора Джона Бернала, это крупный ученый, кристаллограф, он может установить структуру вещества, но он не смог установить структуру нашего движения и секретариата, работавшего в Вене. Он был сух в резолюциях - как истинный англичанин не любил громких слов, а к людям снисходителен. Его меньше слушались, чем Жолио, однако все поняли, как он был нужен в роли председателя, когда в 1965 году после тяжелой болезни, с трудом приехав на конгресс в Хельсинки, он сказал, что больше не сможет выполнять работу президента.

Третьего президента мы не нашли. Мы попросили члена президиума, неутомимую Изабеллу Блум выполнять функции президента-координатора.

Конечно, я не хочу сказать, что огромное мировое движение может ослабнуть только от потери двух выдающихся руководителей. Многое зависит от объективных условий. В Соединенных Штатах впервые в истории значительное большинство мыслящих людей осуждают военную политику правительства; но репутация нашего движения мешала объединению сотен союзов, лиг, групп, движений в ряды Всемирного Совета Мира. Западная Европа стала куда более инертной, она то поддается иллюзиям, связанным с краткосрочной разрядкой международного положения, то фаталистически относится к постоянным разговорам о неизбежности атомной катастрофы. Азия и Африка не всегда связывают справедливую ненависть к колониальным державам с необходимостью предотвратить мировую войну. Мы не смогли осуществить обещаний, сформулированных в 1956 году Жолно-Кюри, о расширении нашего Движения и о тесном контакте со всеми миролюбивыми силами. Прежние формы борьбы за мир в известной степени одряхлели, а новых мы не придумали.

Я продолжаю работать в Движении сторонников мира: несмотря на ошибки и неудачи, мы остаемся единственным широким движением, которое стремится оградить мир. Я не политик, не историк и не хочу браться за слишком трудное для меня дело: проанализировать причины некоторого ослабления Движения сторонников мира. Это - книга воспоминаний, и я остановлюсь на тех помехах, которые чинили нам представители Китая, тем паче что в предшествующих частях моей книги я об этом молчал.

Помню заседание Исполнительного комитета осенью 1957 года в Лозанне. В длинной и довольно обычной для наших встреч резолюции была фраза: «Споры между государствами должны решаться путем переговоров». Один из секретарей, китаец Чен Шень - предложил поправку - вставить «и» - «и путем переговоров». Кто-то спросил, какие другие пути Чен видит для разрешения споров между государствами, отвечающие задачам Движения за мир. Чен ответил: «Различные». Час был поздний, все хотели спать и поручили мне согласовать фразу с Ченом. Мы сидели в маленьком салоне гостиницы, и пять часов подряд я пытался убедить китайского секретаря. Он обладал терпением, и мне тоже пришлось быть терпеливым. Погасили свет - швейцарцы люди аккуратные. В полутьме я видел блестящие глаза Чена и капли пота на лице

переводчика. Когда я рассказал Жолио о разговоре с Ченом, он нахмурился: «Они не понимают, что такое атомное оружие. В Пекине работает один из моих учеников, талантливый физик. Может, он им объяснит...» (Я знаю ученика Жолио - он приезжал на заседание Бюро в Осло. Вряд ли он занимался просвещением политических деятелей Китая, скорее работал над созданием китайской атомной бомбы.)

Споры бывали по разным поводам. Однажды в Вене на заседании Бюро мы напрасно просидели половину ночи, пытаюсь уговорить Чен Шень. Речь шла о приветствии папе Иоанну XXII, который осудил термоядерное оружие. Предложение внесли итальянские коммунисты, и Чен тотчас выступил против: «Папа не любит китайский народ, китайский народ не любит папу». Ничего другого он не говорил и не соглашался воздержаться: «Пусть его приветствуют итальянцы».

Другой раз в Праге осенью 1959 года Президиум составлял приветствие Всекитайскому комитету защиты мира по случаю десятилетия Китайской Народной Республики. Проект приветствия написал Чен Шень. При обсуждении текста выступил индеец Сундерланд, по убеждениям последователь Ганди, который предложил приветствовать новый Китай как оплот мира. Это был человек преклонного возраста. На беду, рядом с ним сидел Чен Шень. Вскочив, китаец ударил Сундерланда по плечу, заставил его опуститься на стул. Я ушел, чтобы несколько успокоиться: знал, что Корнейчуку придется поддержать китайский текст и что никто не упрекнет Чен Шень в недостатке вежливости.

Менялись китайские представители: был Уч Пао; был бывший священник Чу Веньпо, бывший священник, хорошо говоривший по-английски. Менялись и приемы работы. В Стокгольме китайцы перед отъездом устроили пресс-конференцию и, обращаясь к буржуазным журналистам, клеймили резолюцию сессии. В Вене они заставили нас просидеть всю ночь - вносили поправки в резолюцию, а в пять часов утра заявили, что резолюция им не нравится и они не будут за нее голосовать. В Дели они привезли суданца, который проживал в Пекине; он демонстративно лег, когда обсуждали проблему разоружения, и, стараясь хорошо сыграть роль, даже похрапывал. Албанцы, разумеется, старались превзойти своих учителей. В течение двух-трех лет китайцев поддерживали часть японцев, индонезийцы, а корейцы и вьетнамцы соблюдали нейтралитет. Мы долго не отвечали

на грубые обвинения китайцев, это, однако, не только их не сдерживало, а наоборот, воодушевляло. Китайцы перестали с нами здороваться. Когда-то они называли меня «эй лен-бо», что означало «замок чести». Времена изменились. Один из китайских делегатов, выступая против меня, говорил: «Некто сказал» - не хотел осквернить свои уста моим именем.

В декабре 1961 года китайские делегаты перешли от слов к действиям. Они требовали, чтобы намечавшийся конгресс в Москве назывался «конгрессом за национальное освобождение». В чинном зале шведских кооператоров они затеяли доподлинную драку, а в одной из комиссий, оттолкнув оратора, отобрали у него микрофон, швыряли в «ревизионистов» наушниками. Собрания сессии Всемирного Совета были открытыми, к счастью, ни один американский журналист не заглянул к нам - считая, что никаких сенсаций не предвидится; и только много времени спустя один англичанин, узнав о скандале от шведского привратника, написал: «Сторонники мира воюют между собой».

На конгрессе в Хельсинки летом 1965 года китайцы чувствовали себя господами положения. Я работал в культурной комиссии, ее председателем был избран американский негр доктор Гудлетт. Мы обсуждали текст обращения ко всем деятелям культуры. Китайцы все время прерывали выступавших. Собралось бюро комиссии. Китаец оскорблял меня как мог. Я сдерживался и не отвечал. Когда я вышел в коридор, у меня хлынула кровь из носа. Я попросил одного из советских делегатов заменить меня на бюро. Меня отвели в санитарный пункт, там финка уложила меня на диван. Я все же решил пойти в гостиницу и отдохнуть, выйдя из помещения, я оступися и упал на каменные ступени, словом, хлебнул горя.

Приходится признаться, что некоторые представители западных стран долго относились с симпатией к китайцам; они увлекались ролью посредников, считали вполне серьезно, что именно им удастся помирить Пекин с Москвой; другие поддавались революционной фразе - «в Китае энтузиазм, даже если они ошибаются, они верны духу Ленина»; третьи хотели показать свою независимость по отношению к государству, которое долго было в их представлении непогрешимым. Я встречал во Франции, в Италии, в Бельгии, в Швеции различных поклонников Мао Цзэдуна, они, организовав

малочисленные прокитайские партии, издавали газеты - денег у них было много; во всем этом было сочетание наивности и политиканства, ребяческого мятежа и снобизма. На сессиях Всемирного Совета некоторые друзья, которых я хорошо знал, бегали к китайцам, показывая им не только проекты резолюций, но и речи, которые они собирались произнести, многозначительно рассказывали мне: «Китайцы обещали не возражать...» (Китайцы час спустя, разумеется, возражали.) Были и простачки, считавшие, что если мы не отвечаем на брань, то, следовательно, нам нечего сказать и что наши обвинители правы.

Были и малопрстойные сцены. В конце 1963 года в Варшаве собралась сессия Всемирного Совета. Французский писатель Мадоль предложил почтить вставанием память убитого незадолго до того Кеннеди. Китайцы начали кричать, хотели отобрать у Мадоль микрофон; это было в порядке вещей, но, признаюсь, меня удивило, когда два представителя Запада, один бывший миссионер в Китае, а другой - бельгийский барон, набожный католик и не менее набожный последователь Мао Цзэдуна, вытянули вперед свои ноги, показывая, что в отличие от «ревизионистов» не хотят почтить память «империалиста».

Разумеется, поведение делегатов Китая не было эмоциями отдельных людей, оно было продиктовано партийным руководством. Это руководство в своей внешней политике было скорее осторожным: на воинственные безобразия чанкайшистов или их американских попечителей Китай отвечал «серьезными предупреждениями» - «серьезное предупреждение триста восемнадцатое»; посол Китая в Пекине периодически встречался с послом Соединенных Штатов. Однако Движение сторонников мира они рассматривали как трибуну, где могут поносить политику Советского Союза. В пропаганде они никогда не отличались сдержанностью. Готовя у себя термоядерное оружие, они в 1963 году бурно протестовали против соглашения о запрете атомных взрывов, называя его «сговором американских империалистов с советскими ревизионистами».

Лет десять назад я читал, будто Мао Цзэдун сказал, что разговоры об уничтожении жизни на земле после большой термоядерной войны неправильны. Если погибнет половина китайцев, другая половина спокойно сможет строить коммунизм. Не знаю, были ли произнесены

эти слова для успокоения людей, незнакомых с азами ядерной физики, или руководители Китайской республики действительно принимали Америку за «бумажного тигра». Я попытаюсь найти объяснение брани и дракам, которые слышал или видел в течение многих лет на наших заседаниях и конгрессах. Встречи сторонников мира часто напоминали матчи своеобразного бокса, где один был кулаком, а другой молчал или говорил о несоответствии такого вида спорта с идеями и духом движения за мир.

В начале 1967 года китайцы изменили свою тактику и вышли из Движения сторонников мира. Я все-таки неисправимый оптимист, и я продолжаю надеяться, что разумные люди или, как говорил Жолио, «люди доброй воли» сумеют предотвратить ядерную войну. Я не хочу осуждать китайцев, вероятно, все, о чем я писал в этой главе, временное заблуждение, и Китай рано или поздно окажется среди защитников мира.

Осенью 1958 года Георг Брантинг приехал повидать меня в Новый Иерусалим - он отдыхал перед этим в Крыму. Брантинг был сложным человеком, полным противоречий. Не знаю почему, он стал политиком. Может быть, под влиянием своего отца, который был создателем шведской социал-демократии. Люди, знавшие Яльмара Брантинга, рассказывали, что он был веселым, в молодости мятежным, потом показал свое умение объединять, примирять и примиряться, организационные таланты: он не только пережил, но и в меру своих сил способствовал переходу отсталой крестьянской Швеции с ее степенной аристократией в страну передового капитализма и образцовой буржуазной демократии. (С Яльмаром Брантингом дружила известная С. В. Ковалевская, шведы называли ее «профессор Соня» и сестру Георга окрестили Соней.)

Все же мне трудно понять, почему Георг Брантинг стал политиком, социал-демократом, пусть левым, сенатором. Он был адвокатом, но это его не устраивало. Да и кресло сенатора мало отвечало его природе. Во внутренней политике Швеции он играл неприметную роль, но многое сделал в борьбе против фашизма в тридцатые - сороковые годы - процесс о поджоге рейхстага, Испания, твердая вера в Советский Союз в черные дни сорок первого. Он был скорее поэтом, не потому, что писал порой стихи, а по своей душевной структуре: позади сенаторского кресла, мнимо, но для него вполне реально, бушевал неистовый самум. В старости он был одинок, плохо видел, но никак не походил на образцового пенсионера.

В 1958 году, с которого я начал эту главу, Брантингу было за семьдесят, он перенес тяжелый инфаркт, но жаждал деятельности. Мы долго беседовали о неустойчивости международного положения. Брантинг говорил, что Движение сторонников мира охватывает во Франции и в Италии, где сильны коммунисты, широкие круги, но в Англии или Скандинавских странах оно бессильно. «Вы представляете одну сторону,- говорит Брантинг,- а нужно, чтобы встречались политики не только различных стран, но и различных партий, это поможет преодолеть климат холодной войны». Я спросил

его, не хочет ли он попытаться организовать такие встречи; подумав, он согласился.

В апреле 1959 года состоялась первая встреча; ее окрестили «Круглый стол Восток - Запад». Собрались мы в Брюсселе, и было нас никак не больше пятнадцати человек. С тех пор прошло восемь лет. Мы собирались дважды в Лондоне, работали в помещении парламента, в готическом дворне, построенном после пожара в первой половине прошлого века. Потом мы собирались в Варшаве, в Риме, снова в Брюсселе, в Париже, в Москве, во Флоренции (там мы заседали в ратуше - Палаццо Веккио, окруженные потрясающими статуями старых флорентийцев), в Белграде и снова в Париже. Мы стали солидной организацией. Участников «Круглого стола» принимали в Кремле, в доме правительства Югославии, в бельгийском парламенте, в парижском муниципалитете. О наших встречах писали все крупные газеты Европы и Америки. Среди наиболее известных западных участников «Круглого стола» назову Филиппа Ноэль-Бейкера, старого депутата лейбориста, лауреата Нобелевской премии мира, бывшего председателя бельгийского сената Анри Ролена, председателя иностранной комиссии норвежского парламента Финна Му, английских лейбористов Конни Зиллиакуса, Дениса Хили. Томсона, Микардо Мендельсона, итальянских социалистов Ненни, Ломбарди, Витторелли, французских депутатов голлистов Рене Капитана и Шмитлена, оппозиционера Пьера Кота. Жюля Мока, Миттерана, итальянских католиков депутатов Ля Мальфа и мэра Флоренции Ля Пира. В различных встречах участвовали свыше полутораста депутатов семнадцати стран, представители как правительственных партий, так и оппозиции, среди них около половины были вчерашними или завтрашними министрами.

Во Флоренцию летом 1964 года приехал тяжело больной Брантинг и предложил на свое место секретаря «Круглого стола» левого социал-демократа Яльмара Мэра. Год спустя Брантинг умер.

Из постоянных участников наших встреч скончались Конни Зиллиакус, крупный польский экономист Оскар Ланге и генерал советской армии, специалист по проблеме разоружении Н. А. Таленекий.

Мне хочется вспомнить покойного Конни Зиллиакуса (приятели звали его Конни или Зилли). Разумеется, он был политиком, но с

диковинной судьбой. Чудить он начал рано - будучи шведским финном, родился в Японии. Он стал подданным короля Великобритании и сражался в годы первой мировой войны в рядах английской армии. Потом он учился в университете в Йеле в Соединенных Штатах. Потом он стал лейбористом, а много спустя депутатом палаты общин. Весной 1949 года, несмотря на запрет лейбористского руководства, он участвовал в первом Конгрессе сторонников мира. Его исключили из партии. Однако осенью того же года его исключили из Движения сторонников мира - он не согласился с анафемой, которая обрушилась на югославов. Два раза его исключали из партии и два раза восстанавливали. Он считался «enfant terrible» - «ужасным ребенком», люди сердились, но в конце концов привыкли. «Ничего не поделаешь - это ведь Зилли...»

Он свободно говорил на многих языках и не только тотчас переводил свои слова, но на первой встрече «Круглого стола», когда у нас не оказалось переводчиков, переводил выступления всех участников. В справочниках он проставлял «журналист», «член парламента». Он кончил университет в Йеле - в Америке. Самым важным событием XX века он считал Октябрьскую революцию. Я слышал его выступление на большом митинге в Манчестере - он был депутатом этого рабочего города; говорил он хорошо, и обычно сдержанные англичане горячо ему аплодировали. Его слабостью была Организация Объединенных Наций (он там проработал несколько лет). Он неизменно требовал соблюдения «духа и буквы хартии». Часто он был наивным - когда на последних выборах победили лейбористы, он говорил: «Теперь все изменится. Вильсон - левый лейборист...» Оказалось, что лейбористское правительство вело правую политику. Зилли повздыхал, но немедленно организовал оппозицию и, радуясь, говорил: «Нас с каждым месяцем все больше...» Отец его жены изучал психологию зверей, к как-то, просидев вечер у Зиллиакуса в Лондоне, я рассказывал о В. Л. Дурове. С Конни редко кто соглашался, но его любили, и когда он умер летом 1967 года, о нем жалели его политические противники - в Вестминстерском дворце стало пусто: второго «ужасного ребенка» не было.

Оскар Ланге многое сделал для того, чтобы преодолеть взаимное недоверие, которое порой сказывалось на первых встречах «Круглого

стола». Я с ним познакомился в 1946 году в Нью-Йорке и сразу оценил его «тихость». Он был не проповедником, а собеседником; именно это убеждало западных участников наших встреч.

В Брюсселе весной 1962 года «Круглый стол» обсуждал проект разоружения. Мы выделили маленькую комиссию специалистов - Ноэль-Бейкера, Жюль Мока, который много лет представлял Францию в комиссии ООН по разоружению, и советского эксперта Н. А. Таленского. Они заседали два дня и составили компромиссный проект, чрезвычайно детальный, однако приемлемый для всех. Выступая потом на большом митинге, Ноэль-Бейкер и Жюль Мок высоко отозвались о познаниях и миролюбии генерала Таленского. Я узнал Николая Александровича в 1943 - 1944 годы, когда он был редактором «Красной звезды». Он умел не только говорить, он умел и слушать, а это не столь распространенное качество, и оно повлияло на успех «Круглого стола». Его смерть - большая потеря.

Я говорил о том, что постепенно организаторам «Круглого стола» удалось привлечь к встречам политиков разных стран и разного толка. Читатели, наверно, заметили, что среди перечисленных мной имен нет ни одного видного общественного деятеля Западной Германии. Теперь политика немецких социал-демократов стала несколько более гибкой, и, возможно, если наши встречи будут продолжаться, мы увидим «западных» немцев за одним столом с «восточными», но по 1966 год все попытки Анри Ролен, Зиллиакуса и других западных парламентариев привлечь немцев из Федеративной республики кончались неудачей.

Расскажу забавный случай, происшедший в Москве в марте 1959 года - накануне первой встречи «Круглого стола». Брантинг попросил меня поговорить с двумя лидерами немецких социал-демократов Карлом Шмидом и Фрицем Эрлером, которые находились в Москве. Я позвонил немецким гостям; оказалось, что они завтра улетают на родину, они предложили мне, чтобы я их отвез на аэродром - в пути мы сможем поговорить. Они попросили меня подъехать к дому, где жили западногерманские дипломаты, и остановиться на углу - все было обставлено весьма конспиративно. Шмид и Эрлер хорошо говорили по-французски; я им рассказал о том, как понимают встречи «Круглого стола» Брантинг и Ролен. Они были любезны, поблагодарили за информацию - им рассказывали нечто другое,

высказали надежду, что им удастся приехать в Брюссель. Когда мы подъехали ко Внукову, Шмид увидел автомобиль западногерманского посольства и попросил меня выпустить их, а самому не выходить из машины. Все было сделано безукоризненно. Увы, на следующий день, раскрыв «Правду», я увидел заметку: «Отъезд из Москвы руководящих деятелей СДПГ». Среди провожавших был назван я - очевидно, сотрудник ТАССа меня увидел...

Осенью 1961 года на встречу в Риме должен был приехать председатель иностранной комиссии сената Соединенных Штатов Хэмфри. Мы начали работу, все спрашивали, где Хэмфри, Брантинг отвечал: «Его задержали дела, он приедет завтра». Наконец пришла телеграмма: Хэмфри сообщал, что произошли дорожные неполадки, он вынужден заночевать в Лондоне и приедет только завтра. Мы приняли резолюции о разоружении, об ООН, о Западном Берлине и хотели закрывать встречу, когда действительно в зал вошел Хэмфри. Он внимательно прочитал резолюции, но отказался их комментировать - не присутствовал на дискуссии. Два часа он говорил о важности наших встреч, о значении диалога, о своей вере в торжество мира. Когда все встали, сенатор Хэмфри, отойдя со мной в сторону, начал говорить о смерти Хемингуэя и, понизив голос, высказал свое мнение о Западном Берлине. С тех пор прошло шесть лет. Сенатор Хэмфри стал вице-президентом Соединенных Штатов, трудно назвать его политику слишком миролюбивой.

Ненни присутствовал на римской встрече как представитель оппозиции, потом он стал заместителем премьера. Финн Му принадлежал к правительственной партии и вдруг оказался в оппозиции. На московскую встречу приезжали лейбористы Денис Хили и Томсон. Первый стал военным министром Великобритании, а милейший Томсон, член нашего организационного комитета, - заместителем министра иностранных дел.

Не устарели, к несчастью, вопросы, которые мы обсуждали: разоружение, договор о нераспространении атомного оружия, европейская безопасность, германская проблема, нападение Соединенных Штатов на Вьетнам. Незачем говорить о наших резолюциях - это покажется не страницей мемуаров, а вчерашней газетной статьей.

Скептики спросят: в чем же видите пользу встреч? Все спорные вопросы, действительно, до сих пор не разрешены, но, на мой взгляд, они теперь стали более разрешимыми, и, может быть, в этом толика усилий «Круглого стола». Альтернатива слишком трагична: мирное сосуществование или термоядерная война, то есть, говоря проще, - быть или не быть человечеству. Здесь нельзя беречь силы и время, все, что может хотя бы в мечтаниях содействовать миру, заслуживает рвения.

Лично мне встречи «Круглого стола» многое дали - я узнал лучше политиков Запада, пожалуй, лучших представителей буржуазной демократии.

В отдельности эти политики похожи на людей других профессий, среди них есть узкие специалисты и, что куда реже, люди всесторонне образованные, обаятельные и непривлекательные, талантливые и заурядные. Наиболее таинственной для меня является их подлинная профессия - политика. Алехин причислял шахматную игру к искусству, мне остается приравнять политику парламентской демократии к шахматной игре. Конечно, шахматы куда древнее, в них чувствуется известная окаменелость, дебюты давно разработаны, описаны, и все же талантливый шахматист порой находит неожиданный вариант, приносящий ему победу. Я рассказывал в этой книге, как один начинающий любитель выиграл партию у гроссмейстера Флора, который принял его невежество за некое загадочное мастерство. (Недавно В. Аксенов описал подобное происшествие в хорошем «Рассказе с преувеличениями».) Впрочем, такие же случаи бывали в политической жизни Запада. Незнание Гитлером правил игры помогло ему выиграть партию у Веймарской республики.

Считается, что парламентская демократия построена на равенстве избирательных голосов. Это, конечно, иллюзия. Дело решают политические партии, в которых активное участие принимают узкие круги специалистов в присутствии некоторого количества болельщиков. Ораторское искусство может подействовать на часть избирателей, но в большинстве случаев соперничающие партии говорят то же самое, все они за мир, за свободу и за благосостояние. Атакуют они одна другую, почти всегда настаивая на неудаче того или иного шага правительства: мало строили жилых

ломов, повысили безработицу, допустили финансовый скандал и так далее. Говорят, что решающую роль играет пресса, а в последнее десятилетие - телевидение. В Швеции, однако, нет ни одной крупной газеты, которая поддерживала бы партию, находящуюся у власти свыше тридцати лет (все попытки создать социал-демократическую газету, которую читали бы, кончались неудачей). Во Франции людей, которые читают «Юманите», куда меньше, чем тех, которые голосуют за коммунистов. Во время последней избирательной кампании шли споры, кто на экране телевизора выглядит красивее, но и это не решало дела. Многие голосуют по привычке так уж заведено в семье. Другие голосуют всегда за оппозицию - попробую, может быть, будет лучше. Есть страны, где в парламенте представлено мало партий - в Соединенных Штатах две, в Англии три. Есть другие, где партий много, как, например, в Италии, там политическим деятелям приходится договариваться, чтобы создать коалиционное правительство. В отличие от шахмат, выборы, парламентская политика, министерские кризисы имеют элемент азартной игры или спортивного матча, чреватого непредвиденными обстоятельствами.

Какая специальность у депутата? На это можно ответить только таинственным и ничего не определяющим словом «политика». Добрая половина их получили юридическое образование и в начале карьеры или в период избирательных неудач занимались адвокатскими делами. Если вспомнить Третью республику, то виднейшие фигуры парламента в большинстве были адвокатами - Пуанкаре, Бриан, Мильсран, Думер, Барту, Лаваль, Рейно и другие. Да и за нашим «Круглым столом» больше половины заседавших получили юридическое образование - Капитан, Миттеран, Пьер Кот, Ролен, Пирсон, Брантинг, Бенгстон, Юлиус Сильверман и многие другие. Были и экономисты, как Мендес-Франс или Ломбарди, был инженер Жюль Мок, который рассказывал мне, как он строил мост через Даугаву, но, конечно, политика давно стала его профессией.

В 1963 году все товарищи по партии Дениса Хили говорили, что если лейбористы победят на выборах, то он станет министром иностранных дел; действительно, он стал министром, но обороны. Я познакомился в Стокгольме с другом Яльмара Мэра Горстеном Нильсоном, человеком умным, деятельным и веселым. Он был

министром транспорта, военным министром, министром социального обеспечения, а теперь он министр иностранных дел.

Я понимаю, что министр финансов может меньше разбираться в балансе, чем опытный бухгалтер крупного банка или треста. Я знаю, что существуют интересы того или иного класса общества, которые определяют сущность политики. Я отнюдь не защищаю ни диктатуру одного человека, ни технократию. Я просто признаюсь в своем непонимании профессии образцового политического деятеля. Это не роботы, а люди, к сожалению, обладающие нервной системой и способные в критическую минуту оказаться подверженными гневу или страху, растерянности или чрезмерной уверенности.

Многие политики, с которыми я познакомился на встречах «Круглого стола», мне понравились, но порой я чувствовал себя самодеятельным актером, случайно оказавшимся на сцене с мастерами - первыми любовниками, фатами, резонерами или трагиками.

Вероятно, прав был Жолио, когда говорил, что человечество еще переживает свое младенчество - многое должно перемениться, если только благодаря азарту или глупости тех политических деятелей, которые никогда не хотели сесть за круглый стол, человечество не исчезнет до того, как оно достигнет совершеннолетия.

Осенью 1959 года я часто говорил себе, что нужно сесть за стол и начать книгу воспоминаний; я обдумывал план книги и, как всегда у меня бывало, оттягивал начало работы. Несколько месяцев я успокаивал себя тем, что мне приходится отстаивать мои идеи о необходимости гармоничного развития человека, о роли искусства в воспитании культуры эмоций.

Разумеется, я был виноват в происшедшем: напечатал в «Комсомольской правде» письмо одной студентки, которую я назвал Нина, о том, как порвала с любимым человеком, Юрием, хорошим инженером, но современным вариантом «человека в футляре». Для меня было самым существенным не его равнодушие к искусству, а его душевная примитивность и сухость. Он не случайно смеялся над чеховским рассказом «Дама с собачкой», который волновал студентку... «Когда я пыталась разобраться с ним в наших отношениях, он или выходил из себя, или улыбался, говорил, что я нарочно все усложняю». Он сводил чувства к жилплощади и к «распишемся». Он посылал своей матери деньги, но когда она захотела приехать его повидать, он не согласился, объяснил своей возлюбленной, что мать у него «хорошая, но необразованная, так что и говорить не о чем». Все попытки студентки почитать ему стихи Блока или повести его в Эрмитаж кончались неудачей: «Нужно быть людьми атомного века».

Я никак не думал, что моя статья вызовет полемику. Однако молодежь спорила: главная вина за развязавшуюся войну, по-моему, лежит на человеке, приславшем в «Комсомольскую правду» письмо, оставлявшее в стороне душевные недостатки инженера Юрия и перенесшее спор совсем в другую плоскость - нужно ли нашим современникам искусство. Автор этого письма, инженер И. Полетаев, по своей специальности кибернетик.

Я упомянул, рассказывая о своей поездке в Америку, что весной 1946 года в Нью-Йорке мой старый друг Р. О. Якобсон ночь напролет рассказывал мне о новорожденной науке и о «мыслящих машинах». Два года спустя математик Винер сформулировал проблемы, которые

сможет разрешить кибернетика. Не знаю почему, в эпоху Сталина кибернетику у нас называли шарлатанством: может быть, желание разучить думать людей было связано с недоверием или страхом перед «мыслящими машинами». Я вполне понимаю горечь И. Полетаева и его старшего друга профессора А. А. Ляпунова при мысли, как отнеслись в нашей стране к кибернетике.

Труднее понять, почему И. Полетаев обрушился не на подлинных виновников, а на искусство: еще раз вместо принца высекли нищего мальчика. В своем письме по поводу моей статьи Полетаев писал: «Некогда нам восклицать: «Ах, Бах! Ах, Блок!» Конечно же они устарели и стали не в рост с нашей жизнью... Общество, где много деловых Юриев и мало Нин, сильнее того, где Нин много, а Юриев мало».

Нужно сказать, что в письме Нины не было ни слова о музыке Баха, и упоминание о нем осталось для меня загадочным. Мне рассказывали друзья, недавно побывавшие в Академическом городке возле Новосибирска, где теперь работает И. Полетаев, что он любит музыку. Может быть, любовь к произведениям Баха заставила его упомянуть гениального композитора, работавшего двести лет назад, когда не было ни атомного века, ни «культы личности», а может быть, ему просто понравилось словосочетание «ах, Бах, ах Блок!». Не знаю.

Я писал не о превосходстве искусства над точными науками, а о необходимости развивать культуру чувств, то есть о том, о чем я говорил в шестой части этой книги: нельзя идти вперед на одной ноге. Однако дискуссия переключилась на вопросы, кратко сформулированные И. Полетаевым: искусство устарело, у деловых людей нет времени восхищаться Бахом и Блоком, сильнее то общество, где у каждого своя специальность и свое дело.

Я успел в 1959 году узнать, что записки на литературных вечерах пишут скорее наивные и глупые люди, и не судил об уровне нашей молодежи по тысячам писем, которые получила редакция или лично я. Сторонников И. Полетаева было немного, примерно одна десятая. Инженер Петрухин писал: «Как я могу восхищаться Бахом или Блоком? Что они сделали для России и для человечества?» Агроном Власюк заверял: «Понимать искусство надо, но восторгаться им прошло время». Капитан дальнего плавания М. Кушнарев старался проявить терпимость: «Я считаю так - нравится вам музыка

Чайковского - идите, слушайте; нравится вам Блок - читайте на здоровье, но не тяните к этому остальных. Неужели кто-то думает, что мы будем хлопать в ладоши и восхищаться симфониями?»

Все письма последователей инженера Полетаева показывали низкий уровень душевного развития: и повторение бессмысленного сочетания имен Баха и Блока, и вопрос о том, что сделал Бах для России, и даже стиль «читайте на здоровье». Однако и письма защитников искусства не были выше его хулителей. Тысячи авторов писем встревожились, считая, что Полетаев хочет им помешать пойти в театр или почитать в трудную минуту стихи. Основным аргументом был следующий: В. И. Ленин любил слушать «Аппассионату», и это не помешало ему создать Советское государство. Для большинства «Аппассионата» была абстрактным понятием, запомнившимся по воспоминаниям Горького. Одна комсомолка писала, что человек даже в Космос возьмет ветку сирени; это напоминало споры комсомольцев начала 30-х годов - нужна ли им ветка черемухи, хотя в те давние времена о Космосе никто не думал. Вот фразы из писем, повторяющиеся в разных вариантах: «Как могут устареть Пушкин, Толстой, Чайковский, Ренин?» или «Я не вижу ничего постыдного в том, чтобы пойти вечером в театр на «Евгения Онегина». Одно письмо, напечатанное в газете, удивило меня глубиной. Юноша писал, что влюбился в девушку, она любила музыку, и ему пришлось с ней ходить на концерты, вначале он ничего не понимал, скучал, а потом понял, ему открылся новый мир, и, хотя девушка призналась, что любит другого, он ей будет благодарен до конца своих дней.

Один из участников дискуссии увещевал спорщиков: «не нужно ссорить математику с музыкой». Кстати говоря, их трудно рассорить. Эйнштейн в молодости увлекался скрипичной игрой и страстно любил до конца своих дней симфоническую музыку, находя в ней нечто общее с математикой. Никогда ученые не выступали против искусства. Жолио-Кюри любил музыку, живопись; когда он был вынужден остаться несколько месяцев в больнице, он начал писать пейзажи. Ирэн Жолио-Кюри увлекалась поэзией. Бернал в восхищении мне говорил о старом английском поэте-мистике Джоне Донне и о живописи.

Во время московской дискуссии физик А. И. Алиханов писал: «Однако если бы стимулом духовной деятельности человека была бы

только утилитарность, то та сила, которая двигает науку, также исчезла бы. Стимул, толкающий к деятельности в науке и в искусстве, очень красочно изображен в следующем эпизоде: академика Амбарцумяна, астрофизика, спросили: «Какая польза от занятия, астрофизикой?» На этот вопрос он ответил: «Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда поднимает голову и смотрит на звезды». Этот стимул, заставляющий человека думать не только о пище и продолжении рода, и привел к возникновению и науки, и искусства». (Хочу добавить, что в годы, когда подлинная живопись была изгнана из нашего быта, многие крупные физики покупали холсты Фалька, Лентулова, Филонова и других запретных художников.)

В чем же идеал, предлагаемый Полетаевым и его куда менее сведущими сторонниками? В утилитаризме? Базаров говорил, что порядочный химик полезнее двадцати поэтов. В 1860 году это звучало вызовом либералам, помещикам, говорившим о красивости жизни. Теперь имеется большая и технически развитая страна Соединенные Штаты, где все знают, что быть не только видным химиком, но и обыкновенным инженером куда выгоднее, чем писать стихи. Об «американизации» мечтали не наши ученые, а некоторая часть техников, односторонне образованных и помеченных духовной сухостью и внутренней ленью.

Был в полемике и элемент спора. Когда комсомольцы устроили дискуссию, на которую обещали прийти Полетаев и я, зал был переполнен и болельщики двух команд неистовствовали. Сторонники Полетаева привезли электронную музыкальную машину; я ее слушал с интересом - в ней были элементы современной музыки Запада, но сторонники Полетаева в ужасе кричали: «Хватит!» - видимо, вкусы у них были вполне традиционные.

Задумываясь теперь над дискуссией 1959 - 1960 годов, я вижу, что наша молодежь не поняла ее трагической ноты: тяга к искусству во второй половине нашего века не ослабевает, а скорее усиливается. Об этом свидетельствуют увеличение тиражей романов во всем мире, куда большая посещаемость выставок живописи, концертов симфонической музыки, театра, кино, даже литературных вечеров. Однако потолок произведений после войны неизменно падает.

Большие живописцы и Франции, и наши, и Италии, обозначившие уровень искусства в первой половине века, почти все умерли.

Мы знаем великих художников, которые не раз в своей жизни чудодейственно менялись: Пуссен от увлечения венецианской красочностью перешел к строгому классицизму и кончил лиризмом; Сезанн выступил вместе с импрессионистами, а потом начал искать постоянство формы; на определении «периодов» Пикассо искусствоведы сломали себе голову. Шагал остался таким же, каким был в молодости. В этом году ему исполнилось восемьдесят лет, но его последние работы напоминают холсты, сделанные свыше пятидесяти лет назад. Это не достоинство и не недостаток - это природа художника.

Для любого поэта или композитора время - неотъемлемое начало творчества, поэзия или музыка протекают во времени. Для художника или скульптора самое существенное - пространство. Конечно, было много художников, которые остро чувствовали ход времени, пространство для них менялось соответственно со сменой эпохи, но были и другие, которые не обращали внимания ни на ход часов, ни на листки календаря.

Когда Шагалу исполнилось пятьдесят лет, он написал картину «Время не знает берегов». Крылатая рыба летит над Двиной, к ней подвешены большие стоячие часы, стоявшие когда-то в доме родителей художника или его невесты. У Шагала летают не только птицы, но и рыбы, летают над городом бородатые евреи, скрипачи устраиваются на крышах домов, влюбленные целуются где-то ближе к луне, чем к земле. Однако, хотя все у него летит, кружится, он не замечает хода годов.

Я его встретил несколько раз в Париже в эпоху «Ротонды»: он в этом кафе бывал редко. Мне он казался самым русским из всех художников, которых я тогда встречал в Париже: Архипенко был одержим кубизмом, Цадкин походил на англичанина, Сутин молчал, глядел на всех и на все глазами испуганного подростка, Ларионов проповедовал «лучизм», а молодой Шагал повторял: «У нас дома...» Я его увидел много времени спустя в мастерской на авеню Орлеан, и там он писал домики Витебска. В 1946 году мы встретились в Нью-

Йорке, он постарел, но говорил о судьбе Витебска, о том, как ему хочется домой. Последний раз мы увиделись в его доме в Вансе. Он был все тем же. Как-то он прислал мне длинное письмо - в Петрограде сорок лет назад он оставил холсты в мастерской рамочника. Он хорошо помнил дом на углу двух улиц, но не понимал, что значит сорок лет в жизни Ленинграда. Недавно, разговаривая со мной, он сказал о художнике Тышлере: «Молоденький». Тышлер остался для него двадцатилетним юнцом. Он никак не может поверить, что старого Витебска нет, что его сожгла фашистская авиация: он видит перед собой улицы своей молодости.

Шагал провел детство и отрочество в Витебске. Когда ему исполнилось двадцать лет, он уехал в Петербург, учился живописи у художника Бакста. Три года спустя ему удалось попасть в Париж. Весной 1914 года он вернулся в Витебск, женился на Белле и снова направился в Петербург. Первый год революции он прожил то в Петрограде, то в Витебске, а осенью 1918 года Луначарский назначил его комиссаром по изобразительному искусству в Витебске. Он открыл там новую художественную школу, уговорил Малевича и Пуни приехать в Витебск - учить молодых энтузиастов живописи. Полтора года спустя преподаватели перессорились друг с другом. Шагал, разозлившись на «беспредметников», уехал в Москву, проработал там два года и переселился в Париж. Я рассказываю это, чтобы показать, каким чудодейственным родником остался для него Витебск, в котором он прожил относительно мало.

Кажется, вся история мировой живописи не знала художника, настолько привязанного к своему родному городу, как Шагал. Для Вермеера, при всей его привязанности к Дельфту, мир не ограничивался этим городом. Желая сказать нечто доброе о Париже, Шагал назвал его «моим вторым Витебском».

Он прожил несколько десятилетий в Париже, проводил летние месяцы в Бретани и в Пиренеях, в Оверни и в Савойе, жил да и теперь живет близ Лазурного берега, побывал в Испании, в Англии, в Голландии, Германии, в Италии, восхищался галереей Уффици и улицами Флоренции, два раза был в Греции, два раза в Палестине, глядел на Иерусалим, потом на пирамиды Египта, на пестрые краски Бейрута, шесть лет прожил в Нью-Йорке, съездил в Мексику. Что зрительно осталось от пятидесяти лет блужданий, от диковинных

деревьев юга, от небоскребов, от развалин Акрополя? Да почти ничего: несколько пейзажей, Эйфелева башня, у верхушки которой порой обнимаются витебские влюбленные, вот и все. Деревянный захолустный Витебск, город молодости, врезался и в его глаза, и в его сознание. В 1943 году он написал в Нью-Йорке ночной пейзаж: улица Витебска, месяц и лампа, а под ней влюбленные витебчане. В 1958 году он пишет «Красные крыши»: дома Витебска, влюбленные и телега с русской дугой. Еще позднее, в «Женщине с голубым лицом», телега на крыше дома и снова дуга выдают прошлое. В 1919 году Шагал в витебском сборнике «Революционное искусство» выступил против «сюжетной живописи», против «литературщины». Это может показаться парадоксом: он и тогда был самым «литературным», самым «сюжетным» из всех современных живописцев, да и потом всю свою жизнь он делал то же самое. Но здесь не измена себе, а условность словаря. Шагал отвергал тех мнимых живописцев, которые думали и думают, что можно воздействовать на глаз одной сменой сюжета. Он с отрочества знал, что у живописца свой язык, и протестовал против фотографической живописи. Ни протокол, ни опись бутафории не казались ему искусством. При этом он был и остался поэтом, не потому что в молодости иногда писал слабые стихи, а потому, что поэтичность присуща его живописи. Можно сказать, что яблоки или гора Сен-Виктуар - это главы романа, созданного Сезанном. Л Шагал - поэт или, если точнее определить, сказочник, Андерсен живописи.

Сказки неизменно однообразны и многообразны: меняется свет и цвет, а действующие лица повторяются. Шагал показывает людей Витебска; влюбленные целуются, печальные и ясные; бородатые старые евреи то сидят пригорюнившись, то летают над городом; скрипачи не устают играть на крышах; кругом деревянные домишки; деревья, месяц или полная луна, река или небо, домашние животные, которые полюбились ему еще в детстве,- петух, корова, ослик, коза, рыба. Шагал опытный мастер, и он ребенок, влюбленный в сказку.

Один искусствовед, итальянец, написавший книгу о Шагале, считает, что возникновение его живописи таинственно, по его мнению, при всем ее русском характере она никак не связана с народным искусством. Я не знаю, что подразумевает искусствовед под «народным искусством». В Витебске в начале нашего века не

было ни гончаров, сохранявших старые традиции, ни мастеров народной игрушки, ни вологодских кружевниц, ни северных мастеров резьбы, но в этом городе, как и во всех русских городах, жили и работали мастера вывесок. Над лавками, где торговали фруктами или папиросами, над булочными и над парикмахерскими красовались жанровые сцены или натюрморты. Хотя на парикмахерской, где стриг и брил витебчан дядя Шагала, не было ничего изображено, начинавший художник, бесспорно, видел много увлекательных вывесок. Да и сам Шагала одно время, вынужденный заработать несколько рублей, писал вывески, и это занятие ему нравилось. Кончаловский рассказывал, как на него подействовали вывески: «Хлебы» он написал под прямым влиянием одного из народных кустарей-живописцев. Все ранние «бубнововалетцы» - и молодой Машков, и Лентулов, да и художники других групп Малевич до того, как он написал знаменитый квадрат, и Ларионов - все они испытали двойное влияние - Сезанна и мастеров вывесок.

Конечно, в Париже Шагала испытал на себе различные влияния и кубизма, и «диких», и даже сюрреализма, но эти влияния были кратковременными, и, обогатив художника, они не изменили его почерка. Бывают чудесные холсты Шагала, бывают похуже, но его картины никогда нельзя спутать с работами других мастеров.

Шагала - большое явление в мировой живописи XX века. В фондах Третьяковской галереи и ленинградского Русского музея хранятся прекрасные его холсты. Наши музеи их предоставляли для больших выставок в Париже, в Токио.

Может быть, пришло время показать работы витебчанина М. З. Шагала не только французам или японцам, но также его землякам? Ведь все созданное им неразрывно связано с любимым им Витебском.